



ВАЛЕНТИН ВАСИЧКИН

ГОРЬКИЙ  
МЁД

- СТИХИ
- ПОВЕСТЬ
- ОЧЕРКИ

ОРЁЛ, 2014

ББК 84(2p)6  
В-19

*Книга издаётся в авторской редакции*

**Валентин Васичкин**

**В-19 Горький мёд.** Стихи, повесть, очерки. Изд-во  
«Типография «Труд». — Орёл, 2014. — 256 с.

*«Горький мёд» – новая книга Валентина Васичкина.*

*Она придётся по душе тем читателям, кто, как и его герои, в современном мире нравственных проблем не утратил ценных человеческих качеств.*

*В книгу включены цикл стихов «Ностальгия», четвёртая часть повести «Украденная любовь» (первые три части были опубликованы в книгах «Меридиан сердца», «Ласточки на проводах», «Осенние цветы») и очерки «Что посеешь, то пожнёшь» и «Письма из прошлого» – из цикла очерков «От Москвы до самых до окраин» – как авторские размышления о жизни сегодняшней российской деревни.*

ББК 84(2p)6

Дизайн обложки – А. Малинников

© В. Васичкин, 2014.





# Ностальгия



\* \* \*

Над белыми рощами  
        снова плохая погода,  
Над белыми рощами  
        стынь високосного года.  
Размашистый ветер-ордынец  
        в извечном набеге  
С извечной заботой своей  
        о коротком ночлеге.

Поля, перелески –  
        как памятник древнему краю,  
Где предки славян  
        в ратных битвах за Русь умирали,  
И в шуме деревьев  
        я слышу их тяжкие вздохи.  
А в шуме деревьев –  
        дыханье железной эпохи,  
А в шуме деревьев –  
        обида народа и беды,  
Он все перенёс за столетья,  
        сполна их отведал.

Деревья шумят  
        на просторах былинного края,  
Где предков далёких  
        потомки славян вымирают.  
Холмы и равнины –  
        как памятник племени-роду,

В любую эпоху  
и также в любую погоду.  
Снега ли идут,  
зацветают ли буйные травы,  
Холмы и равнины –  
поля нашей воинской славы;  
Их много у нас, в срединном краю,  
от Мамая –  
Под Курском, Орлом,  
под Москвой,  
за Москвой –  
до 9 Мая.





Короли нефтяные  
сроднились с царьками Газпрома,  
Они между собой  
всю страну поделили на части,  
Что ни вор – то министр,  
казнокрады в почёте у власти.

Разбирая завалы  
бандитского нового века,  
Неизменно находишь  
униженного человека.  
В беспросветности бед,  
обездоленный в полную меру,  
Он ещё не утратил  
в советское прошлое веру.  
Но на мелких осколках  
когда-то большого Союза  
В этих днях он никто  
с дубликатом бесценного груза.

В этих днях невесёлых,  
на прошлые дни не похожих,  
Ностальгия за нами –  
как ходит обычный прохожий.  
Всё напомним она –  
судьбы наши, и даты, и лица,  
Судный день впереди,  
и не в силах никто отмолиться.

\* \* \*

Мир всё ещё болен  
                  болезнями старого века,  
Под сводом небесным  
                  слоями архивная ложь.  
Мы можем рыдать,  
                  потеряв одного человека,  
А тут ни слезинки,  
                  страну потеряв ни за грош.

И к новым погостам  
                  старательно топчем дороги,  
Лежит на безбрежье великом  
                  славянская рать.  
Горшки обжигали  
                  и землю пахали не боги,  
Но боги веками вели за неё умирать.

Под сводом небесным  
                  полощутся красные флаги,  
В российском безбрежье  
                  не каждый от вольницы пьян.  
Как мало осталось  
                  в потомках от предков отваги,  
Как мало осталось  
                  в российском безбрежье славян.

И тот, кто сегодня  
на вольнице хлебной жиреет, –  
На красное прошлое  
в злобе возводит хулу.  
Но родины свет их сердца никогда не согреет,  
Пусть даже они,  
как дрова, превратятся в золу.



## НА ОТЦОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

*Ивану Павловичу  
Гурову*

Дом отцовский.  
Козы, гуси, куры.  
Тихая вечерняя дорога.  
И примчится Иван Павлыч Гуров,  
Человек от Бога.

С юных лет его приветил город,  
Здесь, в пустой деревне, его корень.  
Ничего, что он уже не молод,  
Но сюда – и в радости, и в горе.

На земле отцовской частым гостем,  
Не похож совсем на городского.  
Предки на Сабуровском погосте –  
Ни позора, ни суда людского.

Да простится им, что было в прошлом,  
Нам за всё безбожие простится.  
Господи, спасибо не пришлось нам  
На бесхлебье плакать и молиться.

По своей природе балагуры,  
На земле отцовской нас не много.  
Вот примчался Иван Павлыч Гуров,  
Человек от Бога.

Не по сердцу городские виды,  
Как хотел бы он прожить иначе!  
И душа всё плачет от обиды,  
Сам, когда в нетрезвости, заплачет.

Родина, в окопах да ракигах,  
Не смотри ты на дорогу хмуро –  
Это он, тобою не забытый,  
Ты прости родного балагура.

Простенькая серая рубаха,  
Под слепым дождём счастливо вымок.  
За тебя готов он лечь на плаху,  
Как за веру непокорный инок.



\* \* \*

Солнце раньше теперь встаёт  
И стоит надо мной высоко.  
Речку видит и огород,  
«Поле дикое» до истока.

Ни просёлков, ни деревень,  
Там бушует теперь крапива.  
Даже в самый погожий день  
Поймы выглядят сиротливо.

На вечернюю выйду зарю –  
Сердце болью всё так же полнится.  
На безлюдье простор зверью,  
Бурьянам на безлюдье вольница.

Человек на земле не зверь,  
Но, себя увенчавший славой,  
Снова множит страницы потерь  
Под крылом хищной власти,  
двуглавой.



\* \* \*

За лугами-полями закат догорает,  
За лугами заречными день угасает.  
Свет небесный истает над полем, рассеется,  
Безмятежным покоем на сердце поселится;  
Теплой синью густой – лучше нет занавески –  
Занавесятся к ночи холмы, перелески.  
В безмятежном покое себя обозначу –  
Поклонюсь до земли, призывая удачу.

Мне бы думки свои ворошить без печали:  
Где же есть на пути мы, в конце ли? В начале?  
Путь земной нам отмерен: прямая дорога  
От родного порога и дальше – до Бога.  
Мы прошли-прогорланили между эпохами,  
В богатейшей державе довольствуясь крохами, –  
Не смогли избежать роковой этой участи  
Как прямые потомки российской дремучести.

Думать буду о пройденном без сожаления,  
Ведь по жизни со мною не щучье веление:  
Жил, как предки мои, власть земли принимая;  
По весне всю страну поздравлял с Первомаям,  
В День Победы с отцом выпивал за Великую –  
Он дошёл до Берлина, в боях её выковал.

В безмятежном покое не всё так спокойно:  
Рвут земные просторы кровавые войны,  
И на новые бойни составлены сметы.  
Не забыть, как бросали в костры партбилеты;

На великом безбожье страна умирала,  
В нищете переплавив мечи и орала;  
Во хмелю наплевав на законы-указы,  
По российским просторам гуляет проказа;  
И на мелких осколках большого Союза  
Человек для страны – он уже как обуза.

Проклиная земное, в глубокой печали  
Он стоит на распутье –

мы в самом начале!

На просторах земных перед нами дорога  
От родного порога и дальше – до Бога,  
До небесных высот...

А закат догорает,

На российских просторах народ вымирает,  
На просторах земных продолжаются войны...  
В безмятежном покое душе не спокойно.



\* \* \*

Всё слабее сердце моё бьётся;  
Говорят, где тонко, там и рвётся,  
И моё вчера надорвалось.  
Без тревог ни дня мне не жилось;  
Оглянулся: весь как на ладони,  
Слышу: бьётся, а то вдруг застонет...  
Сердце, ты ещё мне послужи  
В этом мире алчности и лжи;  
Потерпи, пока я сам не слягу,  
Поистратив всю свою отвагу,  
Прославляя добрые дела  
В этом мире алчности и зла.

Всё слабее сердце моё бьётся,  
А когда, не знаю, лечь придётся  
В этом мире алчности и лжи  
За святые наши рубежи.  
Думаю, что скоро... и не скоро...  
Гроыхнёт по мне в ночи «Аврора»,  
Как сигнал: гляди, мол, патриот!  
Раскрывал бы ты поменьше рот!..  
Но по жизни я не безголосо,  
Потому что тысячи вопросов  
Мне она на счастье припасла  
В этом мире алчности и зла.

Всё слабее сердце, всё слабее...  
Вот они, изгой и плебеи,  
Я ведь тоже, в сущности, изгой,  
Но – пропахший мёдом и пергой.  
Сложно всё в моём славянском быте –  
Год от года по своей орбите,  
Без тревог ни дня мне не жилось,  
По всему от предков мне далось  
За свои сражаться рубежи  
В этом мире алчности и лжи,  
Где плодят изгоев и плебеев...

Всё слабее сердце, всё слабее.  
Всё слабее сердце моё бьётся,  
Говорят, где тонко, там и рвётся...



\* \* \*

Родная деревня, ты Мекка,  
Просёлок, заросший травой.  
Бекас, этот плакальщик века,  
Завис над моей головой.

Всё просто, по-древнему, тихо,  
В цветах ярко-красных межа.  
Над ними шмели и шмелихи  
В довольстве великом кружат.

Я с ними незримо сливаюсь,  
В грехах никого не виня;  
Стою и всё каюсь и каюсь  
В тиши светоносного дня.

Величье небесного света!  
Ни взрывов, ни грома ракет.  
И кажется: радости этой  
Нам хватит на тысячу лет.

Но ляжет на сердце забота:  
Как жалобно плачет бекас!  
Как будто великое что-то  
Бездумно утрачено в нас.



Пусть кто-то ещё из таких же друзей  
Меня обвинит, заикаясь,  
Что с козами пчёл развожу и гусей...  
Водил, развожу и не каюсь.

И с детства, земным поклоняясь трудам,  
На доброе дело отважный,  
Я, может, бутылку по дружбе продам,  
Но Родину – нет, не продажный!



\* \* \*

Соседней деревне везения нет;  
Гнойник двадцать первого века:  
К друзьям подселился злобливый сосед,  
В крестьянских делах неумека.

Позорит простой человеческий род,  
От зависти к людям сгорая:  
Травой зарастает его огород,  
Ни кур, ни скотины в сараях.

Мне проще прожить  
  новый день без еды,  
Жив буду я корочкой хлеба,  
Мне б только глоток родниковой воды,  
А в нём – малой родины небо.

Могу в остальном обойтись без всего,  
Не думать совсем о ночлеге,  
Но как же остаться нам всем без того,  
Что с Ноем спасалось в ковчеге.



**ОСКОЛКИ**

Не ждали счастья мы на блюде  
И – виноваты без вины:  
Всё вдребезги – страна и люди,  
А мы – осколки той страны.

Придавленные тяжким бременем,  
Глядим на запад и восток,  
Туда уносит ветром времени  
Не всяк оторванный листок.

Осколкам из другого века,  
Всем, кто в былые времена  
Плотины строил через реки, –  
Ты им нужна, моя страна.

Кто смены проводил в забое,  
Кто на заводе сталь варил,  
Кто хлеб растил и, горд тобою,  
С тобой на русском говорил.

А значит, мы особой касты,  
И это вовсе не изъян:  
Да, молоткастые, серпастые,  
Мы из рабочих и крестьян.

По жизни каждый не подсуден  
И виноватый без вины.  
И всё-таки: мы люди, люди,  
Осколки той большой страны!

\* \* \*

Ни тепла, ни радости в природе,  
Отшумела полая вода.  
И опять чубайсы и мавроди  
Нас ведут неведомо куда.

Отстаём, потом бежим вдогонку.  
– Эй, мужик, куда ты так спешишь?  
Видно, приберёт на самогонку,  
На закуску будет снова шиш.

Вот она, российская глубинка!  
Это значит: русская душа  
По стране отпразднует поминки,  
А на жизнь в кармане ни гроша.

– Эй, мужик, горячая натура,  
Ты года прожить не торопись.  
Там, куда деревня мчится сдуру,  
Грабит всех чубайсовская слизь.

Стал мужик, потом подумал малость,  
Вытирая руки о штаны:  
– Это всё, что нам теперь осталось  
В новом хищном веке от страны.

**ДВЕ КАРТИНЫ**

Каждый вечер за берёзовым леском,  
    За просёлками  
Спать ложился срединный край родной  
    С перепёлками.

На закате «спать пора!» да «спать пора!»  
    Разносилось,  
До деревни по лощинам и буграм,  
    К нам катилось.

Каждый день бы их родное «фи-ить – пирю»  
    Слушал снова я,  
Песня б старая-престарая была,  
    А как новая.

А сегодня век другой, новый век  
    По планете.  
За лугами, за берёзовым леском  
    Только ветер.

Он обшарил все посевы в полях  
    И просёлок –  
Не видать и не слышать в этих днях  
    Перепёлок.

С каждым годом и птица, и зверь  
Мне роднее.  
В новом веке на их песню теперь  
Мы беднее.

Мир земной, ты и сложен, и прост –  
Две картины:  
За просёлком в венках деревенский погост,  
Где перепелиный?



\* \* \*

Безлюдье в родимом краю,  
В безлюдье луга одичали.  
Всё меньше я песен пою,  
Всё больше на сердце печалей.

Всё громче звенят родники –  
В природе с избытком отваги,  
Горят, словно красные флаги,  
На стылом ветру лозняки.

По поймам бурьян до небес –  
Богатство срединного края;  
И горечь грачиного грая  
Под вечер уносит за лес.

Сюда, где в осенних просторах  
Ложится полынная грусть,  
Они возвратятся не скоро,  
Свой путь заучив наизусть.

Не скоро услышу я снова  
Тот грай их в родимом краю,  
Где жизни не радуюсь новой  
И песен всё меньше пою.

\* \* \*

Осенние дни, как снимки  
Из потемневших газет.  
С туманом придут зазимки,  
Прольётся над ними свет.

Откроются снова дали,  
Радостью жизни звеня.  
Как просто мы угадали  
Начало погожего дня.

И что нам сегодня слякоть!  
В разбеге осенних дней  
Нам легче смеяться и плакать,  
И родина сердцу милей.



**ЗАКВАСКА**

Как живу, говорите? Живём!  
Деревенская жизнь безбедна.  
Дует ветер сквозной над жнивьём –  
Для столицы безвредно.

Что сегодня, что и вчера –  
Бродит предков моих закваска.  
Утром с пасеки, у двора,  
Слышу: часики бьют на Спасской.

Пострашнее, чем в ту войну,  
Забивает бурьян прогоны.  
Вот опять разбудил страну  
Курский поезд на перегоне.

Распрощался с Москвой в ночи  
И полями да мимо речек –  
На домашние калачи  
По часам его путь помечен.

Мимо нас; а у нас своё.  
Что с того, что промчался мимо?  
Завтра в ночь задымит жнивьё,  
А деревни горят без дыма.

В пепел домики по буграм,  
В прах рассыпались безголосо.  
Всем Иванушкам и Петрам  
Наплевать на родные покосы.

Откосились! И – будь здоров! –  
Отдают люди Богу душу.  
Кто живой ещё – без коров,  
Предпочтение «ножкам Буша».

По утрам дымок из трубы –  
Не сыреет за печкой порох.  
Сводят лес по стране на гробы,  
Разыгрался железный Молох.

Поле, речка, ещё мосток,  
По деревне сивушный запах.  
Так же молимся на восток,  
И всё так же грозитя Запад.

Значит, нравится им земля,  
Наши степи и наши чащи,  
От окраин и до Кремля:  
Всё глаза на неё таращат.

Как живём... Да живём, живём;  
Слышим: часики бьют на Спасской.  
Если хлебушек свой жуём –  
Бродит предков моих закваска.



**ПАСТУШОК**

Держит память моя поныне,  
Никогда забыть не смогу:  
Разомлевшее в синей теплыни,  
Дремлет стадо на берегу.

Я с кнутом и с холщовой сумкой  
На пригорке себе прилег  
И сухариком всласть захрумкал,  
Что отец для меня приберёг.

Держит память картину эту,  
Как художник силой холста,  
Возвращает меня в то лето,  
К стаду нашему у моста.

В судный день – ни дождя, ни хмари –  
Через годы пришёл к реке,  
И, как в детстве, ржаной сухарик  
Крепко-крепко зажал в руке –  
Он теперь для души услада.

О печали седых волос!  
Ни отца, ни кнута, ни стада,  
Луг прибрежный крапивой зарос.

Я стоял на зелёном пригорке,  
А печалей земных мешок;  
И заплакал я горько-горько,  
Словно маленький пастушок.

Хлюпал носом, сухарик хрумкал,  
И, как в детстве, к исходу дня  
Грустным взглядом пастушья сумка  
Проводила домой меня.



**ЛАПША**

Ровесник мой, живи и здравствуй!  
Толстей от свадебной лапши!  
На свадьбе пьяной и горластой  
Лапша всё больше для души.

Уже всё съедено и выпито –  
Котлет, салатов, холодца,  
Но не разбито и не выбито,  
И песням-пляскам нет конца.

И вдруг – лапша! Исходит паром  
И как бы бьёт тебя под дых.  
От предков тост пришёл не даром:  
– Перед лапшой! За молодых!

А выпив, поскорее ложке  
Даёшь размах, даёшь разбег,  
По полной или понемножку –  
Какая разница для всех.

Нам главное, что с пылу-жару,  
Едим, а значит, удалась.  
Хвала сватам и кашеварам,  
Готовившим такую сладсть!

А свадьба на Руси любая  
Не обходилась без лапши.  
И думаешь, её хлебаю:  
Какая радость для души!

**СЛУШАЯ ВРЕМЯ**

Жизнь без грима, без прикрас –  
Делу верное служение!  
Каждый день и каждый час  
Слышишь времени движение.

Прошумит в соломе мышь,  
Скрипнет в доме половица,  
В беспокойстве помолчишь,  
В беспокойстве вскрикнет птица.

Ветка стылая в окно  
Грязным пальчиком скребётся,  
Там ещё темным-темно,  
Ждём, когда петух проснётся.

По часам его сверял:  
Ночь проводит он сторожко.  
Дождь секунды отмерял,  
Как скупой, по чайной ложке –

Сыпанёт и замолчит;  
Мы опять его услышим,  
Ждём, что снова простучит  
Он ещё сильнее по крыше.

Ждём желанное тепло,  
Ждём, когда просохнут лужи;  
Чтоб ещё скорее зло  
У жены прошло на мужа,

Чтобы не было теперь  
Между ними чёрной кошки;  
Чтобы жили без потерь,  
Время тратили по крошке.

Время радости и слёз,  
Мир земной безбожно шаткий.  
Среди снега и берёз  
Седина моя без шапки.

Время слушая, стоишь  
Как в минуту откровения.  
Господи, какая тишь  
В ритме вечного движения!



## ПОСМОТРЮ ЧЕРЕЗ ГОДЫ

Помню, мать говорила:  
– Наступит марток –  
Ты и семеро, может,  
натянешь порток;  
Не спеши обрядиться –  
далека снеговая водица.

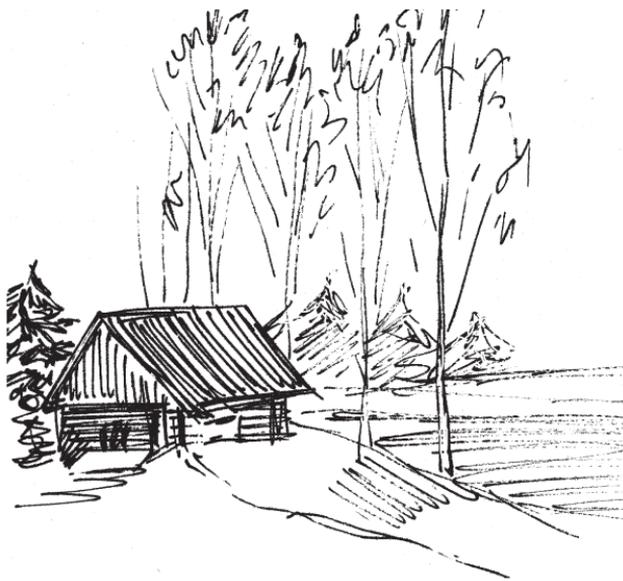
– Что ты, мать, – я в ответ, -  
видишь, сколько примет!  
Скоро курочка наша  
напьётся из лужи.  
Здравствуй, солнце!  
И тёплому ветру привет!  
До свидания, зимняя стужа!

Что сказать, если мать  
была трижды права:  
Как задул-загудел  
ветер с севера!  
В доме сразу повысился  
спрос на сухие дрова,  
Я портки натянул, пусть не семеро.

Через годы, по-своему внуков любя,  
Точно так говорю я  
ершистому внуку.

Я хочу, чтоб усвоил юнец для себя  
Стариковскую эту науку –  
Разбираться в капризах погоды.

Посмотрю через годы...



\* \* \*

Цветёт сирень;  
                    весенний день высок;  
В саду в песочнице играют дети.  
Земля щедра извечно, а песок  
Скупее всех скупых на белом свете.

Мои года уносятся во тьму;  
Как просто всё,  
                    и в то же время сложно.  
И в новых днях, что вижу я, всему  
Не удивляться людям невозможно.

Туман сползёт в овраги на заре,  
Холмы под солнцем  
                    раньше всех проснутся.  
А яблони лишь только в сентябре  
Под тяжестью плодов своих  
                    прогнутся.

Недолго им осталось так стоять,  
И грезиться им будет всё земное.  
Так может только будущая мать  
В тревоге ждать своё дитя родное.

Цветут луга, и новый день высок.  
Мои года уносит знойный ветер.  
Земля щедра, и скуп на жизнь песок,  
Но, надо же, как любят его дети.

**С ПОЛИЧНЫМ**

Солнце выкатилось над поймой,  
Зажигает огни в сердцах.  
Я дождём был с поличным пойман  
В огороде на огурцах.

Только-только нарвал зелёных,  
Туча чёрная в стороне, –  
Налетел он, косой и ядрёный,  
И по мне! И по мне! И по мне!

Будто нету со мною сладу;  
Капли колются, как стекло.  
Так наслёпал меня по заду,  
Из штанов ручьями текло.

Дождик шёл, где ракиты по поймам,  
Где разбег золотых полей.  
Не в плохом я с поличным пойман,  
Светлый дождик, ещё полей!









Самолёт работает с рассвета,  
Ну а я на улы всё смотрю.  
Вот и к нам пришла макушка лета,  
И душа пчелиная согрета,  
И ориентиры – на зарю,

К тем цветам,  
    что в росных луговинах,  
К той гречихе, что уже цветёт...  
Но опять метельною лавиной  
Распыляет яды самолёт.

Мы познали истину простую:  
Жизнь у всех от яда коротка!  
А они стартуют и стартуют  
К солнцу от просторного летка.

Это их последний в жизни взяток.  
Будет горьким их цветочный мед,  
Ведь пчела не скажет, что нельзя так,  
И не сможет не уйти в полёт.



\* \* \*

Ракиты по окопу – к огородам,  
Стволы их узловаты и черны.  
Открытые ветрам и непогодам,  
Они стоят, наверно, от войны.

В нужде великой обошли их пилы,  
Деревня их сумела уберечь:  
Ракиты не пустили на стропила,  
Не протопили в стужу ими печь.

Над ними светит солнце, и спроси его –  
Расскажет, что пришлось им повидать,  
Ведь были молодые и красивые,  
Влюбленные в земную благодать.

Для них играли радуги над поймами,  
Легко журчала речка в берегах;  
Дни летние, тепла и света полные,  
Коровы проносили на рогах.

Не будет сердцу ничего милее!  
И каждый день их за собою звал;  
И, словно Мастер, красок не жалея,  
До ночи рисовал и рисовал.

Художника достойная картина:  
Ракиты, речка, небо, лопухи;  
В обеде, пропустив к воде скотину,  
Под ними отдыхали пастухи.

Года прошли своим извечным ходом.  
Седой, смотрю от своего двора:  
Ракиты всё стоят за огородом –  
Сухие ветки, чёрная кора.

Улада сердцу моему дерева!  
Наверно, им обидно, как и мне,  
Что в бурьяне скрывается деревня,  
И пошлое – коростой по стране.

Они не скажут, что их здесь не радует,  
В осенних днях печальны и тихи;  
Как слёзы, листья их неслышно падают  
На спящие в окопе лопухи.



## **В ВЕЛИКИЕ ДНИ**

Так не нами заведено,  
А далёкими предками:  
Гости в дом – и на стол вино,  
Настоящее чтобы, крепкое.

По-другому нельзя теперь,  
Предки наши нам завещали:  
В праздник затемно  
настежь дверь,  
Если гости – их угощали.

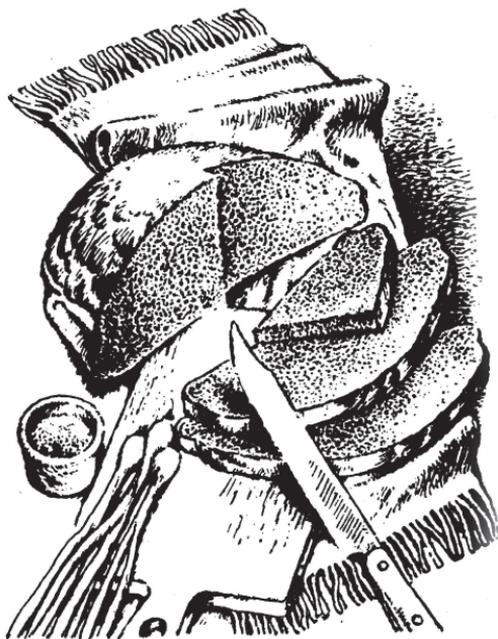
Хлеб и соль на столе всегда:  
– Ну, родня моя, в красный угол!  
Если с другом, то не беда –  
Хватит места родне и другу.

Я как раньше, так и теперь:  
Дни Великие – божья милость!  
То Покров постучался в дверь,  
То Казанская запросилась.

То три дня Михайлова дня,  
Каждый день по-своему сладок.  
И с утра за столом родня  
С холодцом из гусятных лапок.

Власть незлобно ругая вслух,  
Рассидятся они по-русски,  
Выпивая – один за двух,  
За второго всё без закуски.

Крепче нету моей родни!  
Отпахалась и откосилась,  
И Великие эти дни  
Для неё как великая милость.



\* \* \*

*Николаю Матвеевичу  
и Раисе Семеновне Гуляевым*

Приличествуя и не бранясь,  
И с грустью думая о прошлом,  
Живет — несуетный, не пошлый  
С прошедшим днём живая связь.

Его простой крестьянский стол  
Щедрей, чем скатерть-самобранка.  
Жену — увы, не орловчанку —  
Он в ранг величия возвёл,

А потому и стол его  
В известной мере не был скуден.  
Всегда на нём отменный студень  
(Совсем неважно — из чего)  
И квас с хренком,  
И ветчина,  
И каша гречневая с салом...

Мне кажется, что в этом малом  
Уже видна моя страна.

И я любил на склоне дня  
К нему заглядывать нередко.

Приду, а там сосед, соседка  
Или какая-то родня  
Из самой дальней деревушки,  
Или из города дружок...  
На стол огурчик из кадушки,  
Из печки — пышный пирожок.  
Сидишь — душа от встречи тает,  
А он уже заводит речь,  
Чего деревне не хватает,  
Что надобно ещё беречь;  
О мастерах, что стали редки,  
Но если ты присох к земле!..

А сам на стол — лучок и редьку,  
Глядишь, грибочки на столе.  
Душа горит и сладко тает —  
Картошка!  
Она словно вдруг  
От жаркой печки приплывает,  
И перехватывает дух...

Ах, Родина!.. Я не повеса,  
Здесь каждый для меня — родня.  
С большим толкуем интересом  
Мы о тебе на склоне дня.

О том, что жарко на Кавказе,  
Хозяин мой, как дипломат.

Толкует, что от косоглазья  
В России лечит автомат.  
Что есть еще на свете гниды,  
Не потому ли с давних пор  
На уровне ЦК и МИДа  
Вели мы с ними разговор...

Хозяйка вовсе говорушка,  
Как ни ряди, а – божий дар;  
И для неё своя полушка  
Дороже, скажем, чем доллар.  
Тошнит её от заграницы.  
От сникерсов и прочих бяк...  
А день готов уже скатиться,  
Как яблоко, в сырой овраг;  
И в окнах свет небесный сужен...  
Нам лучшего и не желать!  
Несуетно проходит ужин,  
И долго не придется спать  
Хозяину с хозяйкой снова;  
И, потчюя гостей вином,  
Тревожиться им об одном:  
Как жизни сохранить основу.



**ПЛОХАЯ ПРИМЕТА**

Я и ты, да ясный месяц за трубой,  
Каждый вечер мы на лавочке с тобой.  
Твоё сердце – как барометр для меня,  
Как же много накопилось в нём огня!  
И в моём не меньше света и тепла,  
Оттого, наверно, ночь светла-светла.  
Сердце светит, сердце греет, мы горим,  
До рассвета говорим и говорим.  
Сладким сном над садом стелется покой,  
Нам легко с тобой от сладости такой.  
Ты уходишь – дверь по-тихому скрипит,  
В доме тихо, он, уставший, мирно спит.  
Не избавиться от горечи потерь,  
Если хлопнет на прощанье в доме дверь.  
Мы прощаемся – не хлопает пока,  
Но барометр твой зашкалило слегка.  
Отчего и почему – ну не понять:  
Не обнял, а, может, надо бы обнять?  
Это значит, завтра я к тебе приду –  
Она хлопнет перед носом на беду?  
Всё понятно: расцелую, обниму!..  
Только дверь, на случай, всё-таки сниму;  
Чтоб избавиться от горечи потерь,  
Я сниму сегодня ночью твою дверь.

**ЗАКУЁТ!**

Стынут липы на склонах и ёлки,  
В поймах съёжились лозняки;  
И туманы ползут к просёлкам  
Через заросли от реки.

Закуёт ли в ночи, не знаю,  
Я в холодные дали гляжу,  
На просторах родимого края  
Грусть-печаль узелком завяжу.

Завяжу, о плохом забуду,  
Думать буду, что закуёт.  
И однажды увижу чудо,  
От восторга душа замрёт.

Вспыхнет в инее всё земное,  
Станет белым далёкий лес;  
В щедроте на моё родное  
Расплескается свет небес.

Закуёт! Заморозит доли,  
Белым снегом накроет плёс,  
Чтоб я дальше, дедок весёлый,  
Свою ношу по жизни нёс.

И неважно, что очень скоро  
Будет снег на пути глубоком,  
Заспешу я по косогорам,  
Словно сказочный колобок.



## ПОЛОСА НЕВЗГОД

То дожди, то снова небо чистое,  
Птицы на крыло.  
Дни-страницы август перелистывал,  
Уносил тепло.

Гладь воды холодной рябью тронута  
С раннего утра.  
И глаза твои – два чёрных омота  
Выступят ветра.

Белый снег повиснет над излуками  
Белым сном.  
Дед Мороз к закату зааукает  
Под твоим окном.

Вместе с ним я там теперь не выстою,  
И пока  
Будешь ты холодная и льдистая,  
Как река.

Мне понятна истина простая:  
Полоса невзгод.  
Вот примчатся с юга птичьи стаи –  
И растает лёд.

**О ВЛЮБЛЕННЫХ ВОРОБЬЯХ**

Тепло под вечер стало возле дома,  
И ветер как бы сделался слабей.  
За стареньким сараем, на соломе,  
Влюблялся с воробьиной воробей.

Не думая о чём-либо великом,  
Раскрыв красивый клювик перед ней,  
Он с радостью великой всё чирикал  
О верности избраннице своей.

А воробья распушила перья,  
С рожденья недоверчивой была,  
А тут впервые, да с каким доверьем,  
На эту тему речь свою вела.

Чирикала ему, в любви стгорая,  
Что он жених как будто неплохой,  
Что будут они жить теперь в сарае,  
А гнездышко их будет под стрехой.

О, что б ещё сказали от волненья  
В хороший день их жаркие уста!..  
В недобрый час  
        над ними чёрной тенью  
Метнулся чёрный кот из-за куста.



**ЖЕНЩИНА У ЗЕРКАЛА**

Как много бед обещано пророком,  
И даже, – что земной угаснет свет.  
И женщина глядит на мир с упрёком,  
Где зеркало, как маленький портрет.

Да будет зло земное преуменьшено!  
Жена и мать она, не королева.  
Боюсь я, что однажды эта женщина  
От жалости умрёт или от гнева.

Да ниспошли Всевышний нам удачу,  
Земную золотую середину:  
Пусть радость её выразится в плаче,  
До срока не проявятся седины.

И всё плохое пусть проходит мимо,  
Чтоб думать ей всё больше о хорошем;  
Чтоб, в святости своей непогрешима,  
Легко несла по жизни свою ношу.

Во времени растают наши лица,  
Но, тлену вопреки, хотел бы я:  
Пусть бабий век  
                        всем женщинам продлится  
В кругу забот земного бытия.

Но снова нам обещано пророком,  
Что вот земной угаснет скоро свет.  
И женщина глядит на мир с упрёком,  
Где зеркало – как маленький портрет.



\* \* \*

Всё больше грусти вижу в твоём взгляде,  
Но возраста совсем не признаю.  
Всё меньше яркого в твоём наряде,  
Причёску изменила ты свою.

Я тоже не похож на кавалера,  
С годами, как и ты, я стал другим.  
В осенних днях, задумчивых и серых,  
Узлом с тобой мы связаны тугим.

В осенних днях то пасмурно, то ясно –  
Их также с тобой будем отмерять.  
И каждый раз тревожиться напрасно,  
Что можем мы друг друга потерять.

Сполна себя заботами загрузим,  
Как будто захотим вдруг показать,  
Что нам сегодня этот самый узел  
Ни разрубить уже, ни развязать.



**МЫ РАССТАЛИСЬ**

На безбрежье земное  
    в ночи налетели снега.  
На равнинах ветра  
    затевают свои карусели.  
Мы расстались с тобой,  
    но всё так же ты мне дорога,  
Мои чувства к тебе  
    на безбрежье остыть не успели.

Впереди холода –  
    на безбрежье равнинном зима,  
День за днём, день за днём  
    она сердце горячее студит.  
А расстаться со мной  
    ты бездумно решила сама,  
Посчитав, что теперь  
    нас за это никто не осудит.

В холодеющем небе  
    не видно в ночи ни звезды,  
Снова темень, и снег  
    на промозглость земную ложится.  
Сколько надо пройти  
    от обиды простой до беды,  
По глубокому снегу уйти  
    и назад не суметь возвратиться?



\* \* \*

Белый свет над равниной белой,  
Запоздало пришла зима.  
Замирали душа и тело –  
Я сходил по тебе с ума.

Провожая-встречаю зори  
Не хозяйин своей судьбе.  
Нет ни счастья теперь, ни горя –  
Ты присвоила их себе.

А морозы прежнего пуще,  
Завтра улицу заметёт.  
Думать буду, гадать на гуще  
Ночи длинные напролёт:

Где ночуешь, и с кем в обнимку  
Ты встречаешь теперь рассвет?  
Долго буду смотреть на снимки  
Самых лучших, далёких лет.

Не найти мне с собою сладу,  
Если сможешь, то пожалей:  
Капля жалости – капля яда,  
Я приеду, в вино подлей.

## ПЕРЕД ПОРТРЕТОМ В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

Говорят, я еще молодой,  
Без морщин на лице и чубатый.  
Да и сам не считаю бедой,  
Что все ближе к закату.

А мне скоро уже пятьдесят,  
Потому не смотрю на приметы,  
А все чаще смотрю на портреты,  
Что в родительском доме висят.

Время словно отходит назад,  
Оживают родни моей лица.  
Здесь отцу будет только за тридцать,  
И юнцом улыбается брат.

И второй, что постарше чуть-чуть,  
С невеселой судьбою шахтера.  
Он не ведает, видно, что скоро  
В свой последний отправится путь.

Ему хочется делать дела,  
Ему дело и шутка дороже...  
Рядом сестры, и старшая тоже  
Той дорогой недавно ушла.

Невеселый у матери взгляд,  
Ей бы тоже судьбу не такую.  
И все чаще по ней я тоскую,  
Когда тяжкою думой объят.

Как же нынче она мне нужна,  
Эта женщина, что на портрете!  
Не поймут меня взрослые дети,  
Не поймет меня снова жена.

А упреки любимой, как плеть,  
И такого врагам не желаю.  
Мать моя, я тебя заклинаю,  
Как ребенка меня пожалеть.

Нелегко мне сегодня вдвойне,  
Потому и под утро приснилась.  
Помолись за меня, как молилась  
За отца, когда был на войне.

Дай мне силы в борьбе устоять,  
Победить Головлева Иуду.  
Приходить к тебе чаще я буду,  
Только вот не сумею обнять.



\* \* \*

Осколки солнца пятнами  
Скользили по песку.  
В лесу опять невнятное  
Послышалось ку-ку.

Мальчишки на песочнице  
(Себя в них узнаю),  
Вам знать безмерно хочется  
Судьбу свою.

Веселые, беспечные,  
Вы, слух насторожив,  
Твердите бесконечно:  
Скажи!..  
Скажи!..  
Скажи!..

А на лесной опушке  
Пугливая всегда,  
Но щедрая кукушка  
Считает вам года.

К закату солнце клонится,  
В туманную реку.  
Нам всем из детства помнится  
Забавное ку-ку.

Далекое и вечное  
Восходит из души.  
И вдруг сегодня к вечеру  
Опять шепнул: — Скажи...



**СНЕГИРИ**

«...Сколько нынче в саду снегирей!  
Прилетели красивые птицы,  
Пронеслись над простором полей  
Красногрудой зарницей.  
Красный свет осеняет порог  
И ложится на стены...»

С детских лет не любить я не мог  
Этих дней перемены.  
За дождями мороз и снега  
К нам всегда приходили.  
За ночь столько навеет пурга  
Деревенских идиллий!  
Так закрутит она вдоль села,  
А к утру присмирееет.  
Подышу на ледышку стекла –  
Снегири на сирени!  
Усмотрю в синеватый глазок  
Их красивые грудки.  
Словно маленький красный флажок,  
Так и просятся в руки.  
Я за дверь,  
А они, как назло,  
Легкокрылой зарницей...

Зимний день отлетал за село  
Вслед за птицами.

День за днем,  
День за днем – до весны,  
До грачей, до проталин.  
А потом уже в детские сны  
Снегири прилетали.  
Печка жарко дышала теплом,  
Лучше нету постели.  
Снегири!  
Снегири под окном!  
И опять они пели.  
И в большом серединном краю  
Слушал их ностальгию...

Пишет мать: «Прилетели... поют...»  
И я верю: – мои, не другие.



*Украденная  
любовь*

ПОВЕСТЬ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



\* \* \*

Золотится поле овсами  
На исходе погожего дня.  
Нас любимые не бросали,  
Не отвергла пока родня.

Если в доме со всеми ладим,  
Значит, правильно мы живём.  
Наработавшись в поле за день,  
Ночью водку с друзьями пьём.  
Спим.

Но рано к прогону выйдем,  
Козам что-нибудь косанём,  
Поедим, что-то, может, выпьем  
А холодным кваском запьём;  
И в поля!..

Только вдруг да бросят  
И не скажут нам, что теперь?..  
Тихо скрипнет, как заголосит,  
По тебе ли, по мне ли, дверь.

А соседки не зло посудачат,  
Что вот, надо же, и без слёз...  
За меня по тебе поплачет  
За ручьём золотой овёс;

Будет что-то шептать плаксиво  
На исходе дождливого дня.  
Наречёт меня несчастливым  
Моя правильная родня.

Обвинит в семейном разломе –  
И тебя назад позову.  
Без тебя в опустевшем доме  
Я и зиму не проживу.



# УКРАДЕННАЯ ЛЮБОВЬ

## Повесть

### Часть четвёртая

#### 1

За светлыми ливнями и тёплыми зорями, за свирепыми вьюгами и густыми туманами притаилась мелководная Неручь. На её берегах, то высоких, то низких, от самого истока и дальше по течению всё деревни да посёлки рассыпаны – недалеко друг от друга, на расстоянии, доступном человеческому глазу. Не один век стоят они здесь; и всё это время в подслеповатые окна их неброских домишек старательно заглядывало солнце, из труб дымки верёвочками вились, словно соревновались, чей будет прочнее и выше. А проверяло всех на прочность время.

Много веков назад пришли сюда люди. Они охраняли этот край от набегов татар, а вместе с этим и обживали его: рожали детей, распахивали землю и выращивали скот, разводили пчел. От Неручи и дальше к югу простиралось «дикое поле» – не тронутая человеком земля; за ним дымила кострами Золотая Орда, откуда

по весне приходила опасность. Заслышав приближение вражеской конницы, мужчины брали в руки оружие; а степь скрывалась в огне и дыме, оставляя тысячи боевых коней врага на бескормице; и тогда татарское войско отступало, оставляя за собою на месте селений одни пепелища.

Но как торжество жизни над смертью – снова поднимались деревни по-над речкой, к домику домик, поближе к воде да к лугу. Они особо не отличались во времени: всё больше из брёвнышек мягкой породы, крытые под солому; и не пугали друг друга своей теснотой, потому что все они были набиты детворой, при виде которой люди легче переживали беды.

Сколько же раз за века разгуливал по родной Васильевке «красный петух» уже после татар! Жили в бедности; и совсем бедными становились, если запылывает под соломенной крышей пламя, и в считанные минуты останутся на этом месте черные головешки да печь – как памятник сгоревшему дому. Во время фашистской оккупации здесь ненасытный огонь войны смахнул с лица земли все деревянные постройки. По первости, как только прогнали фашистов, отстраивали хатёнки небольшие – лишь бы крыша над головой. Брёвна выискивали по блиндажам да по окопам, да по дорогам через заболоченные низины, где хозяйственные немцы укладывали их, чтобы можно было проехать в весеннюю или осеннюю распутицу. Это уже потом, по прошествии многих лет, ставили дома с высокими потолками да попросторнее, с желанием поскорее избавиться от вечной

спутницы их – тесноты. Но где, скажите, тот пророк, который мог бы предсказать судьбу послевоенного поколения? Пророка нет; и как же мало здесь осталось людей из того послевоенного поколения: разметало их по стране; лежат теперь выходцы из многодетных семей с верховий Неручи на погостах вдали от родных мест, а просторные дома их родителей доживают свой век, сохраняя верность корням своих бывших хозяев. Не от работы люди уходили, а от бедности, с надеждой, что их семейная жизнь на стороне будет лучше. Да, работы они не боялись, сельский житель уже с детского возраста был в неё втянут, с весны до осени он в поле и на лугу.

Судьба эта не обошла стороной и наших героев. Уже с детских лет они помогали в домашних делах. Самыми напряжёнными были летние месяцы, когда работы наплывали одна за другой, и людям не хватало длинного светового дня, чтобы с ними управиться. Вот они – их огороды, с весны ещё черные, а потом все, от одного края деревни до другого, зелёные-зелёные, обработанные сохой и тяпкой; ниже огородов и до самого истока всё прибрежные луга, в которых поднимаются травы – скоро они позовут косарей. У людей не больше недели, когда надо заготавливать торф. Упустишь время – замрзнуть, нерадивый, тебе и твоей семье в стылую пору, потому что, кроме торфа, русскую печь будет нечем топить: на уголь моды ещё не было, как не было и денег на него, а дрова заготавливать негде.

Добывать торф – работа тяжёлая, но она была и праздником: когда человек видел, что день ото дня ре-

шается его проблема с топливом на предстоящую зиму, даже в состоянии большого физического напряжения душа его отдыхала. Уже много лет о заготовках торфа для личных нужд редко даже вспоминают – около полувека, наверно, как начали отдавать предпочтение углю: как же, завозят исправно и разных сортов; и, самое главное, не надо с утра до вечера проливать пот, и есть за что купить – у сельского жителя появились деньги. Спроси сегодня у деревенских мужиков, как заготавливали торф для дома их отцы – не каждый сможет рассказать, и вовсе ни один вам не покажет лопаты и резак, которые использовались на этой работе – они давно сданы как металлолом.

После отцовских похорон Кондрашов заглянул в один из сараев, где в своё время хранился заготовленный торф, а потом уголь; и под крышей, на полке, увидел весь этот набор: поржавевшую лопату для нарезки торфа вертикальным способом, её называли штыковой, – прочную, наточенную, – насаживай ручку и работай; там же лежала ещё одна, но уже для нарезки горизонтальным способом, – эту называли подъёмной, – и к ней резак.

И всё-таки копать торф выходили как на праздник. За день перед этим отец резал барана, мать заделывала небольшую кадущку кваса – тяжёлая работа на протяжении нескольких дней требовала хорошего питания. Уже с утра вся деревня на торфяниках – они тянутся вдоль Неручи широкой полосой на много километров, по ручьям расходятся в разные стороны. Вместе со

всеми и бригадир Андрей Иванович, который организует всю работу и, конечно, будет копать для себя. Бросали жребий: какому концу деревни отмеривать первому; и сажень в руках бригадира начинал кивать: вверх-вниз, вверх-вниз; две сажени в длину, одну – в ширину кивалка отмеривал на каждый дом уже по списку, составленному заранее. Этот надел почему-то называли дачей; копай, дачник, не ленись!

Чтобы добраться до торфа, надо сбросить верхний слой – это, как правило, зола, потому что когда-то он здесь горел, возможно, во время последней войны, а может, и раньше. Хорошо, если тебе повезёт, и слой этот окажется небольшим. «Не повезло», – опечалилась однажды мать, когда приступили к работе и сняли верхнего грунта на три штыковых лопаты. «Это не много, – возразил отец. – Туда дальше – ещё больше. У последних будет не менее метра: я вчера по всем прошлогодним копаням прошёл, да и вода там близко». Копани – это выработанные дачи; верхний слой в них и сбрасывали: выработанные на всю глубину, до синей глины, а это в некоторых местах до трёх метров, они стояли – какие пустые, в каких поблёскивала вода. Здесь уже таилась опасность: грунтовые воды могут прорваться в дачу и не дадут выбрать весь торф.

Самая главная работа начиналась, когда добирались до торфа. Отец из торфяных лопат горизонтальную не любил: для неё надо было кирпичи нарезать, а потом уже подрезать ею снизу и выбрасывать наверх, где стоял человек, который должен был их ловить.

Отец предпочитал работать штыковой – она двухсторонняя, под прямым углом; а ещё пристраивал сверху небольшой крюк – он удерживал кирпич на лопате: поставил её, ногой надавил – и кирпич готов. Чем ниже, тем мягче торф, и лопату уже можно было не придавливать ногой: если сильные руки, а они у отца такими и были, – придавил руками, чуть наклонил её от себя, в любую сторону, чтобы кирпич в торце отслоился, и кидай наверх его. Мать ловила и укладывала на тачку. Отец не спешил, движения размеренны и точны. Тачка загружена, и мать откатывала её подальше от дачи, складывала кирпичи в клетки. «Иван, лови!» – это отцовское предупреждение уже в его адрес, чтобы он не зевал. Пока мать с тачкой в поездке, Иван на подхвате; тачка у дачи – снова ловила мать; потом снова Иван.

Отец садился перекурить, попить кваску, а они возили, что наловил Иван. Клетки чёрными рядами тянулись по бугру. «Хорошо, – говорила мать, – на просторе, ветер быстро высушит». Иван оглядывался по сторонам – то налево, то направо: по всему торфянику люди – все в работе, каждый занят своим делом. Вот где скопилась сегодня народная сила: одни отвозят добытый торф на тачках, другие на лошадях, запряжённых в повозки; крики, смех, разговор, детский плач и скрип тачек и повозок; все весёлые и разгорячённые, нарядные – пожилые женщины и молодки, и совсем молодые девки; и мужики, по пояс голые и в рубахах, мокрых от пота, с придыхом намахивающие в глубине дач под нависшим над ними солнцем. Солнце одно

на всех, и всем видно, как идут дела у соседей. Редко кто отставал, все вровень – судили по клеткам. Стоять им было суждено в торфяниках всё лето. Правда, ещё один раз туда должны были прийти люди, чтобы клетки переложить; потом ещё раз, и тоже по хорошей погоде, – это чтобы всё просушенное сложить в небольшие ометки, которые перевозили и прятали под крыши уже в погожие августовские вечера, зорями. А днём им заниматься торфом было некогда: люди парились на колхозной работе.

Солнце над торфяниками как застывало, уже несколько часов подряд пытаясь остановить сведённую в кулак народную силу, и наконец ему это удавалось. Команды никто не давал, но, как по команде, замирали тачки и повозки, и тише делалось вдоль дач, и не пестрели перед глазами цветастые кофты и юбки: людей звал к себе обед. И еда крестьянская по времени была у всех всегда одинаковая; стелились на траве скатертки или клеёночки, на них выкладывались варёная картошка и сало; яйца, баранина, свинина или курятина – тоже всё варёное, зелёный лук, надёрганный с грядки перед самым уходом из дома. Ясно, что они ели баранину; Иван всё больше налегал на блины – мать рано-рано напекала их тарелку с верхом, хорошо промасливала, пересыпала сахаром, и всю эту стопу разрезала на четыре части. Отец выпивал полный маленьковский стакан водки, закусывал, как работал: аккуратно и размеренно. Мать наливала из четырёхлитрового алюминиевого бидончика кваса – он пенился,

с шумом ходил по кружке кругами, пытаясь убежать через край.

Долго за обедом не сидели, потому что впереди всегда был полдник, во время которого перекусывали всё тем же солёным прослоистым салом, с хлебом и луком; а мать успевала сходить подоить корову на стойле, которое на эти дни располагалось за маленьким ручьём, совсем рядом с торфяниками, и они выпивали по кружке парного молока, тоже вприкуску с хлебом.

Даже солнце уставало висеть над торфяниками, где к вечеру каждого дня клеток прибавлялось и прибавлялось, – оно скатывалось за торфяники, к истоку, и как бы любовалось работой людей со стороны. И люди не железные, усталость брала своё; они неторопливо собирали всё, что принесли с собой: лопаты прятали, присыпав их золой, тачки загоняли в заросли крапивы, за копанями, посуду складывали в сумки и, погромыхивая ею, отправлялись к дому налегке, чтобы утром снова быть здесь.

И вот уже много-много лет не слышит мелководная Неручь на этих торфяниках человеческие голоса – их унесло время, как уносит свои светлые воды мелководная Неручь. Будет ли ещё здесь востребован людьми торф как топливо, придут ли сюда его добывать, даже если случится большая беда, в масштабах государства, – однозначного ответа никто из наших героев не даст. И сколько течёт Неручь, не скажет никто. А начинается она среди торфяных болот, из маленьких говорливых родничков, спрятанных в лозняковых зарослях, под корявым сушняком. И слышат люди по тихой погоде,

как бегут-перезваниваются светлые струйки воды, сливаясь в один большой ручей и раздвигая его берега. Но сил не хватает, и вода на узких местах недовольно шумит, продолжая свою тяжёлую работу: подмытые берега и глубокое русло – не рук человеческих дело.

Время не стоит на месте – позади столетия. Идут по жизни люди – со своими радостями и заботами; их преследуют беды – и в масштабах государства, и свои личные, которые никогда не оставляли человека в покое, а потому и не всегда им дышалось легко в этом благодатном краю, на своей малой родине. Среди них и герои нашей повести об украденной любви; их судьбы пересеклись уже в другом времени, далёком от набегов татар и не очень далёком от больших потрясений двадцатого века. И на этом новом отрезке времени они всё так же вместе, в своей родной Васильевке. Над ними всё так же проносятся ливни; это они тёплыми летними зорями сходятся возле какого-нибудь дома, сидят на лавочке и говорят, говорят обо всём на свете. И, надо думать, слушают не только друг друга; они слышат, как хлопочет за огородами коростель – ходит туда-сюда, и дверь в его доме не хлопает, а скрипит, – значит, он весь в делах; там же, в луговине, откликнулся обеспокоенный чибис – спрашивает, чьи, мол, они такие, как будто видит их в первый раз; на дальнем перегоне, перед остановкой, гуднула последняя электричка, а через минуту донеслось, как она трогается и набирает ход.

Скоро от речки, прямо через огороды, дохнёт прохладой, приправленной запахами свежескошенной

травы: кто скосил, кому – пока неизвестно; с пасеки деда Дулепа потянет медком – медонос и сенокос всегда идут рядом, как два родных брата. Точно так было по всему и сто лет назад: пчёлами занимался и деда Дулепа дед, и косарём он был непревзойдённым.

Всё это их малая родина; и, значит, из таких вот заповедных уголков, малюсеньких, знакомых им до самой последней кочки на лугу, до самой узенькой тропинки к родничку и дальше, через речку, которая местами по колено воробью, и состоит их большая Родина. Ещё недавно была она намного больше, величественней и богаче, но случилась беда в масштабах государства, и многое в новой стране уже не так, как было и как им грезилось во сне и наяву. Сколько же деревень уже опустело по берегам Неручи, и сколько ещё опустеет: в тех, что сиротливо шуряются на солнце из зарослей бурьяна, жизнь угасает с каждым прожитым днём. И всё это происходит у них на глазах.

## 2

Пусто и неприветливо в осенних полях: не шумят машины, не слышно человеческих голосов. Низинный влажный ветер на невспаханных, оставленных до весны полосках старательно прочёсывает жнивье, до самого обеда тянет над зябью серые клочья холодных туманов. О чудных днях промелькнувшего лета, о красоте осенних просторов одни воспоминания. Последним потерял свою привлекательность двухсотгектарный Аркашин

бугор, на котором долго оставалась бельмом на глазу светившая тёмно-зелёной ботвой полоска сахарной свёклы. Это была последняя «горячая точка», так как работа шла трудно, старенькие, изрядно потрёпанные комбайны не ладились, но всё-таки до затяжного ненастья люди сумели управиться. И, как вздох облегчения, проявился после этого один-единственный погожий и безветренный день; а потом синее небо заволокло тучами, они опустились ниже, даже казалось – цепляли за макушки высоких старых тополей, обступивших школу, и мелкий холодный дождь приступил к своей извечной работе в преддверии уже недалёкого зимнего нашествия. «Повезло, – думал тогда Кондрашов, – а ведь свёколка могла уйти под снег».

После отцовских похорон, проводив Сергея и Ларису в Москву, Кондрашов с головой погрузился в хозяйские дела – они затемно уводили из дома и до поздних вечерних сумерек держали его в напряжении. Казалось бы, прошла горячая пора полевых работ, когда ценилось только время, которое неизменно компенсировалось намолоченными тоннами, вспаханными гектарами; и наступили дни умиротворения, обычные осенние дни с возможностью оглянуться назад и подумать наперёд уже с иных позиций, в более спокойном ритме. Кондрашов такой целью не задавался, но дела, требующие его вмешательства, сами по себе втягивали в их спокойное течение.

Ему не жаль было переработанных дней и ночей; он не сожалел, что нередко за весь световой день не садился

за обеденный стол, что дома, как говорила Маруся, он был уже как квартирант, даже хуже того; и ещё много чего он мог причислить к лично потерянному в эту горячую пору, о чём так же ни разу после её завершения не пожалел. Единственное, что его мучило постоянно, – это чувство вины перед отцом. В самый последний день своей жизни отец по-доброму, ласково так поманил его тогда к себе пальчиком, а сын не пришёл. Не понял? Да чего тут понимать, если за свою жизнь отец много раз так подзывал его к себе – и в детстве, и когда он был уже взрослым. Он понял теперь и другое: случившееся непоправимо, и вину не искупить.

Картины того осеннего дня в памяти до мельчайших подробностей: просёлок с поздними цветами, со скирдом ячменной соломы, на котором отдыхает большая серая птица; синее-синее небо, с одной стороны просвеченное солнцем, а с другой – загромождённое тяжёлыми, грязными облаками.

Уже тогда его что-то тревожило, он терзался в разгадках своего душевного состояния, но ни одно из его настроённых чувств не сработало, не прозвучал тогда сигнал тревоги, тот самый SOS, который дал бы нужную команду. Он подумал тогда совсем о другом, и поехал к другому дому, где его также ждали в любое время дня и ночи. Самое главное, это чувство вины преследовало его постоянно и заставляло избегать каких-либо встреч с Натальей: он перестал приезжать к ней домой, на ферме старался обходить стороной; если она приходила со Снегурочкой к ним и заставляла его

дома – делал всё, чтобы не быть с нею рядом: скрывался в спальне или находил какую-то работу в гараже. Но все эти действия не приносили ему никакого облегчения, даже было ещё хуже; и тогда, чтобы как-то избавиться от свалившегося на него тяжелейшего душевного недуга, он стал искать утешение среди друзей.

Чаще всего Кондрашов уезжал в райцентр, потому что многие вопросы он мог решить только там. Но и райцентр уже не был похож на самого себя и его душевному выздоровлению не благоприятствовал. Ещё недавно в нём насчитывалось более полусотни юридических лиц, которые предоставляли людям работу и платили исправно налоги. Среди промышленных предприятий флагманом считался конденсаторный завод, через проходную которого каждое утро проходили около тысячи рабочих. Остальные были рангом ниже, но и они надёжно крепили союз серпа и молота; и ничего, что оборудование того же маслодельного или консервно-овощесушильного завода было устаревшим, зато продукция выпускалась экологически чистая и неизменно пользовалась спросом.

А ещё дымили трубами три асфальтобетонных завода; шесть механизированных колонн строили жилые дома, детские сады и школы, магазины, животноводческие помещения, автодороги. И вдруг весь этот отлаженный механизм начал давать сбои, а потом и вообще замер. Люди перестали ходить на работу, тем самым пополнили нефинансируемую армию безработных. Остановились станки и машины, которые тут же

кому-то продали, перепродали, порезали на металлолом.

Опустели производственные помещения районных отделений «Сельхозтехники», «Сельхозхимии» и ещё некоторых организаций помелче, предоставляющих колхозам и совхозам различные услуги. Словно злой старик Хоттабыч, в своём стремлении отомстить людям за нанесённые обиды, творил и творил на этой искони русской земле срединной России несправедливые дела.

Конечно, всё, что происходило в районном центре, достаточно хорошо вписывалось в общую картину страны; и действующая власть не считалась с мнением людей, которые проявляли какое-либо несогласие с проводимыми ею реформами, да и с людьми тоже. Реформы продвигались со скрипом и желаемых результатов не приносили, скорее, получалось наоборот. И в это непонятное время такие, как Кондрашов, считали себя в какой-то степени заложниками новой власти: им ничего не оставалось делать, кроме как безропотно выполнять волю тех, кто состоял в заговоре со стариком Хоттабычем. В райцентре дороги друзей всегда пересекались: проблемы были у каждого, И, справившись с делами, Кондрашов с компанией находили место за забором какой-нибудь обанкротившейся организации и, сидя в машине, выпивали по любому поводу: за встречу, за здоровье, за советские праздники, которые по-прежнему им были дороги; поминали тех, кто погиб на родных высотах во время войны и после неё; и тех из друзей или родных, кому поставили гранитные памятники совсем недавно, как, например, его отцу.

Но не только это непомерно тяжёлое чувство вины, разраставшееся в нём с похорон, словно злокачественная опухоль, заставляло его вести такой разгульный образ жизни. Он не был слепым: он видел и чувствовал сердцем, что Наталья – его любимая, милая, добрая, желанная Наталья – чувствует себя не совсем хорошо; что ей не легче, и она также ничего не может поделать с собой; а виноват здесь только он.

Кондрашов метался в муках до глубокой осени. Трудно сказать, как бы складывались их отношения дальше: угас бы, нет ли в них сам по себе тот самый огонь украденной любви, который светил им, грел их уже много лет; взять же на себя смелость затушить его ни Кондрашов, ни Наталья, всего скорее, не смогли бы. Но в этих невесёлых днях судьбе угодно было распорядиться по-своему.

Остались позади просвеченные скупым солнцем первые ноябрьские дни. На Казанскую пролил небольшой дождик; недалеко был Дмитриев день, и Маруська, ходившая на кладбище привести в порядок к родительской неделе могилки, под этот дождик и угодила – свалился на голову неожиданно, из появившейся невесть откуда тучки, и холодный-холодный. Кондрашов приехал домой уже в потёмках, хорошо выпивши, и особого значения не придавал, что жена слегка покашливала, куталась в пуховик, хотя в доме был нормальный плюс, а батареи водяного отопления несли и несли живое тепло. Утром она встала с трудом, вся потная, ослабевшая, и Кондрашов, не раздумывая,

увёз её в больницу. Там определили сразу: воспаленные лёгких, надо ложиться, к чему, кстати, они были готовы.

Он отвёл Маруську в отделение, сложил в тумбочку всё, что она взяла из дома с собой, и, собираясь уходить, шутливо спросил:

– Живность как прикажете кормить, и чем?

Она слабым голосом, словно через силу, засмеялась:

– Раньше сам всё знал.

– Это было раньше.

– А поросята что раньше ели, то и сейчас. Свари картох, сыпани посыпки, плесни воды, – потом помолчала самую малость и добавила: – А себе-то, знаешь, как варить?

Кондрашов улыбнулся на её вопрос, но сказать ничего не успел; она продолжила:

– Ты вот что, Вань, сделай: пусть Лариса с Алёнкой поживут с тобой. А ещё скажи свахе Наталье, пусть приходит к вам – всё будет лучше: она в делах домашних попрактичней. Понял?

Что думала Наталья, говоря эти слова, было известно только ей одной; но в эту минуту ничего тревожного не отражалось на её лице, она улыбалась; и добавила, легонько ущипнув его за нос:

– Только, Вань, смотри,... я проверю.

Сказала – как предупредила.

– Понял, – и он кивнул головой.

В этот же день, в обеде, когда Лариса и Алёнка ещё были в школе, Кондрашов поехал на посёлок: знал, что

Наталья будет дома. Вошёл без стука, но для Натальи это не стало неожиданностью: видела в окно, когда он подъехал. Спросила, как ему показалось, с холодком:

– Ехал-то – не боялся?

На вопрос ответил вопросом:

– А когда я боялся?

Кондрашов свой голос не узнал: хриплый, виноватый.

– А чего же пропал, глаз не кажешь?

Он всё так же стоял возле порога и молчал; что мог сказать он человеку, которого любил и без которого не представлял своей жизни, ради встречи с которым променял последний, уже предсмертный час отца.

– Не побоялся, потому и приехал. Без тебя тяжело, а с тобой ещё хуже.

– Чего так?

– Так вот и получилось. Ты помнишь, когда умер отец, а я у тебя был?

– Да.

– В тот день отец меня позвал, а я к тебе поехал; и до сих пор простить себя не могу: он же звал меня к себе, понимаешь? Пальчиком поманил так: иди, мол; а я – к тебе.

– Вань, я сама мучаюсь, что украла тебя у семьи. Я самая последняя тварь: ведь твоя мать меня приветила, Маруська ко мне, – как родная, а я чем отплатила, а? Мне что делать теперь, если я жить без тебя не могу, и только поэтому Алёнку пустила на свет? Я дура; мне надо было голову отбить, что первого нашего порешила.

Я, Вань, ещё не особо старая и готова ещё себе нарожать – от тебя. Подумаешь, вон Нюся в шестьдесят лет двойню выкинула, а я теперь готова и тройню выносить ради тебя. Губить не стану, я оставлю – пусть живут; а значит, и я жить буду и видеть в них тебя, даже если тебя не будет рядом. Но я виновата не потому, что хочу тебе зло сотворить: я люблю тебя, а ты ушёл от меня после похорон и тем самым убиваешь меня.

Наталья стояла перед ним, как на исповеди, и говорила, говорила; в руках смятый платок, на лице отражалось всё сокровенное, о чём она говорила, и всё невысказанное, что ещё лежало в глубинах её души.

– Вань, я понимаю тебя, потому и терплю. Но лучше сразу убей меня, чем так убивать – изо дня в день, каждый час, каждый миг. А сама себя я не порешу теперь, как раньше хотела.

Кондрашов подошёл к ней, взял её руки – они были много меньше, с хрупкими дрожащими пальцами – и погрузил их в свои большие ладони, покрытые загаром летних знойных дней, заглубевшие от ветра и дождя и хранившие в себе автомобильные запахи. При всём различии их руки имели разъединственную, но весьма существенную схожесть: они были одинаково согреты всё тем же огнём украденной любви.

Ещё много по-хорошему теплых, искренних слов было сказано ими в тот благословенный час, ещё больше их было не высказано, и они остались лежать в глубинах души в ожидании своего звёздного часа; но теперь взаимоотношения их наладились, и ничто не

омрачало повседневную жизнь наших героев. Наталья каждый день приходила к Ивану, хлопотала по дому, во дворе. Лариса и Алёнка за то время, пока Маруська лежала в больнице, прижились в этом доме – им было легко и весело, а так легко и весело бывает в таком возрасте только совсем счастливым людям.

Иван стал раньше прибаваться к дому, обедал с ними. Все вместе они дважды ездили в больницу к Маруське, на проведки; и она осталась довольна, что с хозяйством всё в порядке, тем более что Иван стал чаще бывать дома, а это означало: её муж приводит себя в норму. На исходе второй недели Маруська позвонила – голос весёлый, бодрый – и попросила приехать за ней, мол, завтра выпишут. Кондрашов сразу же объявил, что поедут все вместе.

– Ура! – обрадованно закричала Алёнка.

Лариса отнеслась к этому спокойно: поедем, значит, поедем; она больше обрадовалась за Снегурка, которая любила с крёстным кататься.

Наталья Алёнку опечалила:

– Нет, Снегурок, мне и Ларисе завтра некогда – дома работы много, а ты должна нам помогать. Крёстному без нас удобнее будет.

Что сказала, то и сказала, другого не могла. Завтра сюда она вообще не придёт: и так целых две недели тут, словно одной семьёй. Народ всё видит; скажут, выжила Маруську. Нет-нет, свой дом пустой.

От Алёнкиной радости следа не осталось; Иван сдёрнул к переносице чёрные брови – первый признак

его недовольства – и ничего не сказал: он, в общем-то, понял Наталью, а уговаривать её не видел смысла, так как откровенного разговора, по его мнению, всё равно не получилось бы. Но наутро Наталья неожиданно передумала: пусть люди что угодно говорят, но раз Иван так считает, то и сомневаться ей не следует.

В обеде они уже были в больнице. Иван пошёл поговорить с врачом, Лариса задержалась в вестибюле – встретила однокурсницу, а Наталья с Алёнкой прошли в палату.

– Мы за вами, тётъ Марушь, – и девочка легко порхнула к ней, стоящей около кровати, обхватила ручонками.

– Я вас уже жду, выписку мне оформили, – сказала радостно Маруська и погладила её по голове. – А где Иван?

– Пошёл к врачу, получше узнать хочет про твою болезнь, – доложила Наталья. – Сказал, его не ждать.

– Значит, не будем, – удовлетворённо согласилась Маруська.

И они направились к выходу; в руках пухлые пакеты с её вещами, с пустыми банками, ложками, чашками.

– Пришла сюда с одной сумкой, а пока полежала, глянь, сколько нажила, на возу не уместится. – Маруська высмеивала сама себя, как бы осуждала за свой непристойный поступок. – Всё везли, везли; ведь говорила же: не надо.

В вестибюле Лариса забрала у Маруськи пакеты, и все сразу погрузились в машину, которая стояла

недалеко от центрального входа. Маруську интересовали новости, и они рассказывали – кто что знал, даже Алёнка протараторила о двоечниках из своего класса. А пришёл Иван, и они поехали – в машине сделалось веселее, шума прибавилось. Все рады были встрече; им было весело, что Маруська выздоровела и едет домой; что вот на пороге замаячил сквозь редкие белые хлопья декабрь, а там недалеко и Новый год, который принесёт им новые надежды на такие же удачные дни, каким был этот и каких уже немало затерялось в прошлом.

### 3

В ожидании новогодних дней всегда появляется волнительная прелесть чего-то таинственного и важного; и человеку, по складу его характера, свойственно надеяться в этом ощущении праздности на очередной подарок судьбы: мол, было у тебя, добрый человек, много всякого, не просыхали глаза твои от горьких слёз, но ты особо не страдай и живи надеждой – впереди у тебя светлые, замечательные дни, которые высушат слёзы, успокоят душу и сердце. «Да, да!» – подсказывает ему разум. Но как же больно человеку, если он остаётся обманутым в этих безбрежных просторах земного бытия; и на какое-то время ни радости, ни устремлённости в мечтах; и снова слёзы горькие печалей от потерь чего-то важного, продляющего век.

Такая вот человеческая жизнь; но ещё хуже, если бывает она такой не только в преддверии новогодних

торжеств. И тогда снова надежда, и вера в добрые дела – они никогда не покидают человека и продляют ему век земной; а если он молод и в душе романтик – такое будет у него даже изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Иван Дмитрич Кондрашов перелистывает их вместе со страницами своего настольного ежедневника; и короткие, на первый взгляд, бессвязные записи в нём напоминают о каких-то важных на тот момент событиях из жизни родной деревни, прямо или косвенно связанных с его, Кондрашовской жизнью. Ежедневник изрядно потрёпан, исписан беспорядочно и многоцветно: он служит ему верой и правдой уже много лет. Полистаешь его страницы-дни и сразу припомнишь недуги и несчастья за много лет и зим, потому что это история болезни всего колхоза, его родной деревни, переживающей настоящую агрессию со стороны... да нет, со всех сторон. Некоторые свои записи Кондрашов без улыбки читать не может. Вот одна из них: «Васька был пьяный». Это он о Березуцком записал, чтобы не забыть к концу года, когда начисляют премии по итогам полевых работ. И хотя день был праздничный – 9 Мая всё-таки, а всё равно записал: Васька-то уже на наряде, утром, был такой, и на машину посадили другого человека.

А вот другая запись, уже недавняя – они только отметили Алёнкин день рождения и одновременно встретили Новый год: «Горел телятник, по страховке – срочно». Кондрашов и без записи хорошо помнит, как поздно вечером запылился тот самый телятник,

в котором работала Наталья. Огонь пошёл гулять из кочегарки, где стоял водогрейный котёл, работающий на печном топливе. Сколько времени он силу набирал там при закрытых дверях, никто сказать не мог, но мало-помалу вырвался на простор через потолок, минуя каменную стену помещения, в котором находились телята. С новой силой пламя рванулось по фронтому вверх, до конька; как сухой порох, с невообразимым треском загорелись под шифером хвойные доски; источая запах горячей смолы и нефти, отбрасывая клубы чёрного дыма, всё жарче и жарче разгорался и плавился изоляционный слой из рубероида, накалялся шифер.

Кондрашов в это время подъехал к Натальиному дому, рассчитывая вечер провести у неё: знал, что Лариса теперь в Москве, с Сергеем, Алёнку на зимние каникулы вытребовала к себе Настюшка, и Наталья оставалась дома одна. Он заглушил мотор, выключил свет, намереваясь выйти из машины, но вдруг услышал далёкий, непонятный для него треск – так взрывались в новогоднюю ночь заряды праздничного салюта и петарды; потом ещё один треск, такой же силы и в той же стороне, где располагалась ферма, и тёмное небо сделалось розовым. Кондрашов захлопнул дверцу, и уже через считанные минуты он бежал от машины к воротам телятника. Пылало внутри кочегарки; пламя взвивалось по фронтому и дальше, по коньку крыши; от высокой температуры рвало на мелкие осколки шифер. Свет в помещении давно погас, но фонари, висевшие на столбах, светили.

Он распахнул ворота – навстречу жар, едкий дым, испуганное мычанье телят. В дальнем углу, примыкающем к кочеварке, потолочное перекрытие уже прогорело и роняло на животных первые шапки огня; в другом углу, где стоял электромотор навозного транспортёра, искрило и потрескивало – очевидно, замыкали провода. Кондрашов метнулся назад.

Народ уже сбегался на пожар.

– Либо от котла загорелось, а я только отошёл в коровник, – виновато оправдывался Севалкин, который на зиму определялся на ферму слесарем, и это была его смена.

– Разберись! – рявкнул на него в горячке Кондрашов. – Быстро отключи везде свет. Знаешь, как?

– Знаю, – и Севалкин рванул к трансформатору.

– А вы за мной, надо телят выводить! – почти закричал Кондрашов, и несколько человек вместе с ним скрылись в воротах. Они быстро резали верёвки, которыми животные были привязаны к кормушкам, и, напуганных, упирающихся всеми четырьмя ногами, с трудом вытягивали их наружу. Дышать было тяжело, забивал кашель, слезились глаза: дым стремительно заполнял помещение.

Кто-то из деревенских раньше всех увидел, что на ферме большое возгорание, услышал треск рвущегося на части шифера и позвонил в пожарную часть, тем самым спас помещение и животных, – своими силами отстоять всё это добро они бы не смогли. К телятнику с пронзительным воем сирен подскочили две пожарные машины; их боевые расчёты отлаженными

действиями, без какой-либо суеты, быстро протянули длинные рукава, моторы заработали на повышенных оборотах – и, придавленное пенистой водой, пламя сразу же стало спадать, только прибавилось шипения и дыма. Но ещё долго, до полуночи, проливали они торцевую часть прогоревшей крыши и потолочное перекрытие, высматривая: то ли дым поднимается кверху, то ли пар, и не затаился ли где под навозом или в обгоревших брёвнах до поры до времени жар, чтобы спровоцировать повторное возгорание.

Севалкин, довольный собой от сделанного, – как же, с председателем тушил пожар и спасал телят! – всё хлопал по грязной, продымленной куртке такими же грязными руками и приговаривал:

– Проявил бдительность и смелость, так что мне полагается медаль «За отвагу на пожаре».

В том самом ежедневнике, Кондрашов ещё называл его поминальником, были записи и на Севалкина: одна – по тому же поводу, что и на Березуцкого, другая читалась, как приговор: «Севалкин пропил решёта». Когда Севалкин после объяснения в кабинете у Кондрашова вернулся на своё рабочее место, к сортировальным машинам, а это было в уборочную, встретил его Кулачок:

– Похвались, что тебе сказали?

– Как всегда, – невесело признался Севалкин. – Премию выписали и сказали: вернуть на место. Неудачник, одним словом.

– Кто? – засмеялся Кулачок. – Ты или он?

– Обои.

Севалкину тогда было не до смеха.

Пожарные свернули рукава, дали несколько важных советов и уехали, а Кондрашов всё ходил вокруг обгоревшего помещения и с горечью думал о том, что удача снова отвернулась от него, и что совсем плохо начинать новый год с такими неприятностями. Потом он пришёл к мысли, что это судьба уготовила ему ещё одно испытание. И хотя река времени всё дальше и дальше уносила его от пожара, но память сохраняла до мельчайших подробностей события того вечера; он продолжал жить с неприятным ощущением от случившегося, ему были в тягость свалившиеся новые заботы, которых у него и так была целая пропасть.

– Плохо, когда удача отворачивается от человека, – сказал ему дед Илья, когда Кондрашов в один из дней, незадолго перед майскими праздниками зарулил на посёлок, – будешь делать всё так же, но не будет получаться. А пойдёт беда – открывай ворота.

И, увидев, как после его слов Иван вдруг потемнел лицом, он тут же поправился, пытаясь как-то сгладить суровую правду сказанного:

– Я не пророчу, Дмитрич, но такая вот примета в народе и живёт. Это значит: беда за бедой ходит.

Моросил мелкий-мелкий дождь, словно кто-то невидимый, спрятанный в низких тучах, просеивал через мелкое сито скопившуюся там после половодья влагу. Сидеть в доме они не захотели, а устроились под навесом, сооружённым для хранения дров: дед Илья их за зиму истратил, и теперь стоял там небольшой

стол, сколоченный из нескольких тесин, и две узкие скамейки, – как определил Кондрашов, делалось всё это на скорую руку.

Тогда всё больше говорил дед Илья – он как бы спешил выговориться, выплеснуть наружу накопившееся в нём за время одиночества.

– А ты особо не расстраивайся от моих слов. Я, мил человек, скажу тебе другую народную мудрость, по которой живу сам, а слышал её, может, полвека тому назад от стариков. Они говорили, что не велика беда, коли влезла в ворота, то есть её перенести, пережить можно. Однако давно я тебя не видел, давно, – продолжал припевать старик; а сам неспешно топтался возле стола – то с одной стороны, то с другой, убирая с него всё ненужное, лишнее, что могло бы им помешать во время беседы. Сходил в дом и, когда на столе появились выпивка и закуска, жестом пригласил:

– Теперь, Дмитрич, ближе к столу.

– Да я, дед Илья, сегодня неплохо пообедал, домой заскакивал, – сказал Кондрашов, но отказываться не счёл нужным: старик мог обидеться; а тот и впрямь как не слышал его:

– Недалого царства нет; да ближе, ближе к столу: полдничать будем; однако, скажу тебе, это не еда, а закуска.

Бутылка у Ильи в руках; и в наступившей тишине было слышно, как в рюмках забулькало.

– Помянем предков давай. А вообще, народу ушло много: и молодые, и старые – все туда, оттуда никого.

– Закон природы, – сказал Кондрашов. – Так жизнь и проходит.

– Не так всё, как ты вот думаешь, – возразил старик. – Это мы приходим и уходим, а жизнь остаётся.

– Ну и философ ты нынче, – засмеялся Кондрашов.

– Это я от одиночества, – откровенничал дед Илья, – всё один да один. Правда, кое-когда к Наталье схожу за новостями, а так всё как в лесу живу, пню молюсь.

– У тебя телевизор есть, радио.

– Не смотрю я его, – с огорчением признался старик, беря бутылку; в рюмках снова послышалось буль-буль. – Из него одна агрессия идёт: стреляют, режут, воруют, матом ругаются. А радио как замолчало два года назад, так и до сих пор ни слова, одно шипенье из него. Мне без них лучше, как бы спокойнее.

– Про погоду бы послушал.

– А что мне про неё слушать, я без них знаю, когда дождь придёт или снег выпадет. Мне вот на тебя посмотреть давно хотелось, и послушать, а ты всё помалкиваешь.

– Не молчу я, – засмеялся Кондрашов. – А что не заезжал – на то были причины.

Но дед Илья разошёлся не на шутку.

– Смотрю: дороги вроде бы обдуло; слышу: на полях загудело, – значит, поехали; значит, думаю, живой и жить собирается дальше. Но посмотреть-то на тебя хотелось, вот, думаю, заглянет. Я, признаться, сам уже собирался идти, но вода не пустила старика, да и духу что-то не стало хватать. Некогда ему, – в словах ирония. –

Загружай специалистов – пусть работают, а их у тебя, мил человек, в колхозе – волк за ночь не порежет.

Кондрашов сидел напротив него, слушал, не перебивая; и всё больше утверждался в предположении, что за то время, пока они не виделись, – а последний раз он был здесь зимой, когда приезжал поздравить его с днём Советской Армии, – у деда Ильи произошли какие-то внутренние изменения. Они угадывались в его речи, в жестах, но более всего – во взгляде его выцветших глаз: он стал более спокойным, в нём словно прибавилось доброты, хотя Кондрашов никогда не видел в этих глазах что-то другое, что отталкивало бы человека. И он вдруг улыбнулся на слова старика о специалистах, что также не прошло незамеченным.

– Улыбайся, улыбайся, но я знаю, что говорю. Людей в колхозе убавляется, а начальников – глянь, сколько наплодил. Посчитай, сколько работников у тебя пащут-сеют, сколько за коровами ухаживают, и сколько у тебя таких, которые ничего не производят, а всё вокруг да около и есть просят.

Кондрашов заёрзал на лавке:

– Без них тоже нельзя, работа всякая должна делаться.

– Должна, спору нет. Но ты не глупый же, и должен видеть разницу во времени. Сегодня нас ведут туда, где мы были до семнадцатого года: заводы, фабрики, земля – всё в частные руки. Государство бросило деревню, ему колхозы наши не нужны; а вспомни, как оно помогало здесь живущим при Советской

власти, допустим, лет пятнадцать назад, какие кредиты получали.

– Давало, – и он согласно кивнул головой. – Кто посильнее – рассчитывался, а с убыточного взять было нечего. Но в должниках такие долго не ходили – списывали, хотя, кажется, были и вечные должники: старые долги им прощали, чтобы могли новые кредиты оформить.

– Вот я и говорю: кто тебе сегодня даст беспроцентный кредит? Никто, кроме нас, конечно, пенсионеров. При Советской власти всё делалось с размахом; посмотри, какие постройки стоят: склады, коровники, мастерские, как дворцы какие. Нам сегодня ещё служит всё советское: поезда, рельсы, электрические столбы, провода, дома и всё, что в них, потому что был гарантийный срок, а ещё запас прочности, – могу предположить, тоже с гарантией. Что хорошего у нас будет впереди – не вижу, не просматривается. Теперь ты ничего не строишь, денег не хватает даже на солярку и запчасти, на удобрения – это чтобы посеять вовремя; потом их не будет хватать во время уборки, – и так до самого нового года. Замкнутый круг, из которого трудно выбраться. Трудно, но, как я мыслю, можно, и принимай мои слова за подсказку.

Кондрашов внимательно слушал, хотя многое из того, о чём говорил дед Илья, ему было известно в подробностях.

– А ты живи по средствам. Паши и сей сегодня ровно столько, насколько хватит духу, чтобы всё

выращенное убрать, и вовремя. Это как я, допустим: не хватает духу – и не пошёл к тебе. А раньше-то как бегал, а?

– У нас план на всё, дед Илья, нельзя не выполнять.

– А ты перепланируй. Ну что ты сеешь до морковкиных заговен, а потом выращенное убираешь на лыжах, когда и без того хилые посева половину урожая уже потеряли на корню. Ради чего всё это? Ради десяти центнеров с этих последних трех-четырёх сотен гектаров? Да сократи посевные площади, а оставшаяся земля пусть отдыхает, набирается сил в залежи, потом попарует. Придёт время – она тебе и без удобрений хороший урожай обеспечит: покупать их не надо будет, хотя, конечно, с удобрениями лучше. Пусть план по севу ты не выполнишь, зато по урожайности и намолоту, так сказать, по конечному результату своё возьмёшь. Выгода налицо. Самое главное, что ты технику обновил маленько, и её теперь надолго должно хватить, да и работа веселее пойдёт. Но живи по средствам, словом, по одежке протягивай ножки.

– Не знаю, до каких морковкиных мы сеем, но мы сеем и убираем. Не позволят мне такую вольность – не выполнить план сева, – говорил он тогда старику. – С этим у нас в районе строго.

– Это в районе; а ты послушай, что говорят: вся страна зарастает бурьяном и лесом. Да эта власть специально ведёт к развалу, чтобы потом кто-то всё добро прибрал к рукам. Рукастых, Дмитрич, нынче, – глянь, сколько развелось: работать не хотят, а вот хапнуть жирный

кусок так и норовят. Ты вот что, мил человек, – и дед Илья наклонился над столом, к нему поближе; взгляд с прищуром, в глазах лукавинка, – ты делай своё дело и никому не докладывай свою правду, а бумага всё вытерпит.

Они ещё долго говорили на эту тему; дед Илья приводил пример за примером: как работали с землёй его деда, по их рассказам, как вели своё хозяйство до коллективизации, будучи в единоличниках.

– И не вздумай распустить колхоз, раздать землю, – убеждал он Ивана. – Сегодня один человек ничего с ней не сделает, нет условий для этого: ни лошади у него, ни трактора, одна лопата и грабли. Единственное, что сможет, – это продаст или пропёт, в противном случае – зарастут его гектары сорняками, как у тебя на Сахалине.

Сахалином называли тридцатигектарное поле за небольшим ручьём, впадающим в Неручь. Этот участок много раз пытались разрабатывать, но неудачно: низинное место после половодья долго просыхало, после сильных дождей туда технику тоже не загонишь, а в итоге поле было бросовым и заросло чем только можно было. «Всё знает старина», – без обиды подумал Кондрашов; а неожиданный вопрос старика снова возвратил его на Сахалин:

– Ну, вот что я буду с ними делать, если их мне поделишь? Да вдруг ещё на Сахалине?

У Кондрашова перед глазами ручей; за ним широкая пойма, которая тянется от невысокого берега до высоты,

а по ней – разнотравье грубое да местами бурьян.

– Подсказывай, ты же начальник.

– Ты хозяин, ты и думай, что будешь делать, – пожал плечами Кондрашов. – А я буду думать за свои и за родительские.

– Вот так и получается: ты руководитель, народ к тебе с доверием, а ты завёл нас в тупик, а сам в сторону?

Дед Илья выпрямился, развёл руки в стороны и, глядя на него и не моргая, застыл в ожидании.

– Дед Илья, что же ты из меня врага делаешь, – сказал Кондрашов. – Да, было собрание, и люди за колхоз обеими руками. Но меня понуждают, чтобы у каждого был документ на землю, подтверждающий, что эти гектары – его собственность.

– Не спорю с тобой, с людьми согласен, так сказать, в одну дудочку дуем, – кивнул головой старик. – Но, Дмитрич, коли я хозяин, значит, это моё личное дело, где мне сеять, что мне сеять и когда сеять; и никто меня не заставит сделать иначе, если для меня как для хозяина этой земли нет выгоды.

И уже прощаясь, дед Илья признался:

– Не думай, что я просто так говорю. Ведь я в жизни многое повидал, в колхозе и бригадиром работал, и заместителем председателя; а время послевоенное было – плохое для всех, и строгое, и выживали – кто как мог. Но держала вера в хорошую жизнь. И жалко было людей: умирали, а колосок не сорви. А зачем его рвать, когда можно дать человеку на трудодень ровно столько, чтобы он не умер и мог работать, и чтобы семья

его этих трудностей не знала. Если не так, тогда ради чего мы родились и живём. Я знал за себя и за свою правду пострадал. Но чем дальше живу, тем легче жить: во лжи я не погряз, вреда народу не принёс, а потому велико доволен.

#### 4

Над поймами Неручи, над полями и берёзовыми перелесками снова тепло и тихо; ещё недавно на этих просторах потрескивал мороз, и подваливало снегу так, что дороги делались непроезжими. Всё верно: на календаре доходила зима, в натуре – тоже. И вдруг к деревне прихлынула теплынь, завеселели воробьиные стаи, петухи как походили с ума, – и никому не понять, по делу они, нет ли, весь день, до самых потёмок, на разные голоса перекликаются. И тут всё правильно: март – месяц весенний.

Хомутиха на Евдокию обнародовала свой уточнённый прогноз: «Лопни мой последний глаз, но весна придёт сегодня рано: куры-то мои у порога водички вдоволь попили; да и сама я калошами похлебала». Её метеорологические наблюдения для подружек великой новостью не стали, а Тося Фролова даже попробовала поспорить.

– Варька, не городи, – возразила она. – Я помню, в какой-то год на Евдокию не только у порога по лужам плавали, и по дороге без сапог нельзя было пройти; а после неё как посыпало, да с морозом ещё, – и кобеля

сидячего снегом заносило. Вон вчера по телевизору сказали, что ранней весны не будет.

– А ты иди и спроси у Олега Борисыча; спроси-спроси, тогда и спорь со мной; он подтвердит.

Хомутиха знала, что говорила; а подружки её также хорошо знали, что она чаще всего оказывалась права, и желающих поспорить с нею всегда не находилось. У Фроловой Тоси большого желания доказать свою правоту тоже не проявилось, а которое было, самая-самая малость, всё по той же причине сразу улетучилось.

Ай да Варька Хомутиха! Весна уже через неделю от Евдокии загудела-засвистела на разные голоса: в ночи налетел ветер и принёс с собой дождь; сугробы с перепугу присели; под тяжестью снега, напитанного водой, закрипели, загорбачились плоские крыши сараев, в один скат. Наутро напозд туман и с жадностью питона стал пожирать на своём пути всё белое, что ещё вчера заставляло думать о его незыблемости и поздних сроках настоящего тепла. А когда через несколько дней вся эта страсть свалилась в низовье Неручи, куда всегда отступала непогода, в каком-то новом, уже по-весеннему контрастном свете сначала проявилось синее-синее небо с крупными серыми облаками, холмы, ненадолго просвеченные ярким солнцем, а потом всё остальное, что лежало ниже по всей среднерусской возвышенности.

А дальше пошло-поехало: Неручь глухо вздыхала, словно надрывалась от тяжести полых вод, несущихся с полей и раздвигающих её берега; весёлые ручьи поблёскивали на солнце – их было много, и больших,

и маленьких; они словно перезванивались по своим телефонным номерам, и даже можно было думать, что это не пар стелется над большими чёрными проталинами, а задымились от перенапряжения провода их телефонных станций.

И тут же заголосили от радости скорой встречи на тихом закатном огне неторопливые косяки гусей; следом, как бы отстав по времени и нагоняя родные утиные стаи, низко-низко над околицей пронеслись с лёгким шумом небольшие стайки; значит, сейчас они опустятся ещё ниже и где-то среди торфяных болот приглядят укромное местечко, со спокойным разливом, устало плюхнутся на воду и будут разбиваться всё парами да парами, негромко переговариваясь, чуть ли не шепотом. Всё верно: весна что для людей, что для птиц; и своё берёт извечный закон природы, который никому не суждено изменить, – ни людям, ни птицам.

Хомутиха и это знает не хуже московских или питерских академиков; и каждый год в эту пору, уже по теплу, когда она со своими подружками впервые после зимней стылости сходится перед вечером всё на той же утрамбованной площадке, напротив своего дома, где её Гаврил когда-то сладил длинную и довольно широкую скамейку, им есть что рассказать и удивить друг друга. Подсел к ним и Гаврил, который ещё утром заявил, что сезон местных новостей будет открывать не Варька его, как это было всегда, а он. Но на этот раз опередила всех Фролова Тося.

– Так, девки, есть хорошие новости и плохие. Вам сначала какую? – с этими словами она сунула руку в карман, достала горсть тыквенных семечек. – Утром полезла на буфет и наткнулась: целый пакет лежал.

Она пошарила в кармане ещё и сыпанула по чуть-чуть каждому из сидящих на скамейке.

– Хорошие семечки, – оценивающе сказал Гаврил. – А новостей у тебя столько же?

– Ещё больше, Гаврюша, – засмеялась Тося. – А семечки и правда хорошие, и очень ценные, особо для тебя.

Гаврил насторожился – он зачуял какой-то подвох.

– Это чем же?

– Противозачаточные они, Гаврил. Вот теперь ты и бесплодным походишь. Знаешь, как они прочищают ловко.

Все смеются, Гаврил громче всех:

– Это хорошо: вам теперь меня бояться нечего.

– Сядь! – осадил его Хомутиха. – Приклеился к бабам, как бабий угодник.

– Да пусть сидит. Что он тебе, мешает? – заступилась за Гаврила Тося Воронина.

– Варьк, и то правда, – поддакнула другая Тося. – Скамейку-то делал он. А то разломает.

И все снова дружно засмеялись, Гаврил тоже.

Хомутиха не стала ждать, когда скамейка вдоволь насмеётся, пока Фролова Тося соберёт заявки на новости – она знала сама, какую подать первой: самую-самую...

– Что слышала я вчера, девки мои. И, скажи, все в деревне как на ладони, никуда не спрячешься, а вот поди узнай, попробуй.

На скамейке сразу тишина: слушают внимательно, только семечки потрескивают.

– Левый что учудил: он всё с Верухой крутился, уже давно, стало быть; а потом – и никто не знал, как это он умудрился так, по-тихому: с её сестрой Клавкой у них срослось. А она-то много старше его, да без мужа трёх детей нажила. Верка узнала про измену Левого и за волосы сестру и отгаскала.

Левым в деревне прозвали Сорокина Витька, довольно спокойного, рассудительного парня, – за то, что был он левшой.

Гаврил к женщинам относился по-разному, но чаще всего их поджеливал, потому что знал по себе: выбирают женщины.

– Верка неправильно сделала, – сказал он осуждающе, – они на равных перед Левым, выходит, наперегонки его и выбирали.

– Значит, Клавка лучше сумела его чем-то завлечь, – рассудила Тося Воронина.

– Сумела завлечь, не сумела... сумела, бабы, и нашла чем. Но без последствий тоже не обошлось, – и Хомутиха сделала многозначительную паузу, указательный палец правой руки кверху, – беременная она.

– Беременная? – чуть ли не хором удивилась скамейка.

– Да, сама сказала.

– И сказала, от кого?

– Да, так и сказала: от Левого.

Оставлены в покое семечки; все заговорили наперебой, заспорили, стали расспрашивать Хомутиху о подробностях.

– В ногах у них не стояла, свечку не держала, – хихикнула Хомутиха, – поэтому подробностей не знаю. Но знаю точно, что Клавка приходила сегодня на медпункт и объявила медичке: мол, ставь меня на учёт.

– А как же теперь Левому быть с Веркой? – не успокаивалась Фролова Тося .

– Как быть, как быть, – перебила её Хомутиха. – Да никак теперь. Мать Левого зачужала это дело и бегом на ферму – тоже хотела Клавку за волосы, тем самым доказать, что сын её ни при чём тут. Перехватила в тамбуре – она как раз коровам раздавала корм, ну и давай её обрабатывать: мол, ты чего это на моего сына наговариваешь, мол, неспособен Левый на такую мерзость, да, к тому же, у него и не стоит.

– Так и сказала?

– Так и сказала, дура. Стоило из-за чего позорить сына.

– И что Клавка?

– А что ей: схватила вилы и говорит: мол, как по ночам в окно ко мне стучаться, так стоит, а мать узнала – сразу никудашным стал, инвалидом на это дело. Иди, получше у него расспроси, что и как. Так вот и отшила её.

– Нет, бабы, такое просто так не бывает, – сказала Тося Воронина. – Значит, у Левого какие-то чувства хорошие к Клавке были, если до этого дело дошло. Вот видите: и домой к ней ходил по ночам, – значит, не с первого же раза у них всё получилось.

– Со второго, – съязвил Гаврил на Тосины слова. – А когда ещё ходить к ней: днём-то она на ферме, а сам Левый целый день шоферит.

Он посмотрел на них как-то хитровато, и словно бы с насмешкой, мол, и вы, уважаемые, одного поля ягодки; и вдруг весело и протяжно захохотал.

– Заржал, как жеребец! – снова одёрнула его жена.

– Отстань, – огрызнулся Гаврил.

– Считай теперь, сколько раз он там охмырнулся, – Фролова Тося тоже смеялась. – Левый собирался жениться на Верухе, а она всё раздумывала. Теперь вот ему надо к Клавке идти свататься.

– Может, и по любви у них, – продолжала рассуждать Тося Воронина. – Всякое бывает. А как узнать, любовь это или не любовь. Спрашивать? Обмануть человека можно запросто, да и самому обмануться.

– Доказывать надо всю жизнь, что любишь, – поучительно заметила Хомутиха. – Любовь – она всегда видна.

– Насмотрелась любовных кин, так что по любовным вопросам она теперь крупный специалист, – вставил шпильку Гаврил.

Фролова Тося со своей:

– Ты вот, Варька, живёшь и всё время доказываешь кому-то, что любишь, да?

Намёк был тонкий, но ему в шуме-гаме не придали особого значения, не вникли в самую суть его, где спрятан был последний Хомутихин грех. Сам Гаврил старательно растопыривал уши, чтобы не пропустить ни слова, но получалось у него это не всегда: иногда он начинал думать о своём сокровенном, и слова сидящих рядом с ним людей улетали в космос. После Варькиных в таком состоянии Гаврил находился недолго. Что делать, если у него тоже был свой грех... Грех? Нет, скорее, так себе, грешок. Любовь, не любовь... Вот Варька его сказала, что любовь не спрячешь, мол, она всегда видна. Решил было спросить её, куда надо смотреть, чтобы увидеть эту самую любовь, но раздумал: попробуй спроси – и будешь сожалеть потом. И всё-таки не вытерпел:

– Варька моя сказала, что любовь всегда видна. Согласен. А скажите, куда надо смотреть, чтобы её увидеть?

Несчастные бабы, они в его вопросе подвоха так и не уловили.

– Глаза всегда скажут, – рассудила одна Тося, Фролова.

– Голос человека, его интонации, – утверждала другая Тося, Воронина.

– Я – его; присвоил, – презрительно сказала Варька.

Она смотрела ему в глаза; она всё-таки вычислила, о чём и как подумывал её мужик. Но он и сам сказал, не побоялся:

– Если баба хочет узнать, любит ли её мужик, ей всего-навсего надо посмотреть на него, ниже пояса, – и

тогда она сразу увидит, есть ли у него любовь и за что его любить.

– Варька, смотри! Хомут, вставай! – хохоча, закричали бабы, – Варька, смотри, куда Гаврил сказал; и давай определяй, сколько любви у него к тебе, а сколько ещё к кому-то. Давай, давай, Гаврюша.

Хомутиха было прицелилась отвесить очередную плюху своему, как она считала, беспутному мужу, но неожиданно для всех, – и для Гаврила тоже, который уже съёжился в ожидании награды, – сама рассмеялась.

– Варька, ты вот сказала, что любовь надо доказывать, – всё ещё улыбаясь Гавриловой шутке, заговорила Тося Воронина. – У меня брат родной прожил с женой лет десять, и всё время в ругачке: сильно ревновала его, к каждому столбу; а он всё доказывал ей, клялся-божился, что любит, что она у него единственная-разъединственная. Бывало, придёт с работы, а она обнюхивает его – нет ли чужого бабьего запаха на нём. Он на колени перед ней, руки целует, чуть не плачет, а она: «Проси прощения!» Не знает, за что, а просит. Недавно такая же сцена: он клянётся, что любит, она ему в том же духе: мол, чем докажешь, что любишь? «Палец отрублю», – говорит. «Руби», – это уже она ему. Он берёт топор, палец на стол и хрясь – рубанул топором со всего маху.

Тося сделала короткую паузу; подружки при последних её словах вздрогнули, потом заохали.

– И что? – не выдержала паузы Хомутиха.

– А что бывает в таких случаях, – спокойно

продолжила свой рассказ Тося. По всему она уже свыклась с подробностями этой страшной сцены из жизни её родни, поэтому ей не было так страшно. – Палец на столе, кровь хлещет, брат закричал-заохал, мат-перемат; схватился он за руку и скорей к двери, бежать в больницу, значит, а вслед ему: «Милый, забыл палец, – может, пришьют!» А ты, Варька, говоришь, что надо доказывать. Доказал вот, и теперь на всю оставшуюся жизнь без пальца, и без бабы ещё.

– Бросил её? – спросила Фролова Тося.

– Она его. На что он мне, сказала, без пальца.

– Да, Тоська, надо доказывать, – не сдавалась Хомутиха, – но не как твоя родня. Он должен был устроить ей такую выволочку, чтобы раз и навсегда уяснила, за что надо любить мужа, и как любить.

– Ну-ка скажи нам, Варька, за что и как? – снова подъехала к ней с вопросом хитрая Фролова Тося. – Ты Гаврила за что любишь?

– За то, что скамейку сделал, – решила отшутиться Хомутиха.

– А про детей забыла? – в тон ей подсказал молчавший всё это время Гаврил.

Варька Хомутиха правильно поняла провокационный Тосин вопрос; и вообще ей показалось, что сегодня её подружка не в духе, кем-то или чем-то обижена и постоянно ищет повод для скандала. А Варьке этого не хотелось, так как Тосины намёки всякий раз были направлены в её сторону, как ей казалось, не случайно: Тося знала о тайных связях её с новым вздыхателем.

Ведь Варьку Хомутиху жизнь щадила: таким же зорким оставался её последний глаз; лицо, когда-то не особо привлекательное, как бы округлилось, и всё, что хранилось под цветастой кофточкой, на груди, за последние годы значительно приросло, на что зарился теперь не только Евсеев.

– Варька, за что и как? – тянула настойчиво Фролова Тося.

– Бабы, кого за что и кого как, – стала переводить стрелки Хомутиха. – Вон Ванька Кондрашов, за что его любят две бабы? Да за любовь. Кулака ни на одну не поднял, словом не обидел, на машине катает – то по одной, то, гляжу, вместе сидят. За что его не любить, скажите? Такие, как Ванька, палец рубить не будут. И что ему доказывать, если он своей жизнью живёт да живёт, своё дело делает исправно и никому не мешает. Такими мужиками бросаться – грех, бабы, большой, их за это ценить надо; только мало сейчас таких, на всех не хватит.

И она замолчала, глубоко вздохнув, посмотрела на своих закадычных подруг, как бы оценивая, какое впечатление произвели на них её слова, и занялась семечками, которые всё ещё держала в руке.

– Что Наталью возит, это ещё ни о чём не говорит, – сделал вывод Гаврил. – С ним в машине много бабездит, и на Наталью сколько мужиков лупятся. Вон приبلудный Еремеев второй год вокруг неё увивается.

– Он, может, и больше будет увиваться, но путного ничего не получится у него, – перебила мужа Хо-

мутиха. – Лопни мой последний глаз, но Наталья не променяет Ивана, ни на кого. Девка-то, Снегурочка, это же копия: Иван да и только.

И вдруг насыпалась на Гаврила:

– Ты, Хомут, хуже бабы стал – всё с бабами да с бабами, сплетни собираешь. Раньше, бывало, как зверь какой, кидался на нас, а теперь, как скамейку поставил, словно переродился: мы сюда, и он, глядишь, приляпался. Бабы, в доме теперь мужиком не пахнет.

– Старее, не ругай, – заступилась за него Фролова Тося.

– Поумнел, – возразила – как похвалила, но только с непонятной иронией, другая Тося, Воронина.

– Подурел! – гаркнул Гаврил, вставая. – Думаю, и мне надо жить, как Ванька; чего уж лучшего желать: всем хорошо будет.

Знать бы Ивану Дмитричу Кондрашову, что он в очередной раз оказался в главных героях деревенских пересудов; и не только в этой небольшой компании разговорчивых женщин, называющих себя то девками, а значит, не чувствующих своего возраста, то просто бабами, при этом не вкладывая в это слово никакого понятия о возрасте, и завистливо посматривая в сторону Натальи и Маруськи. И ведь что ещё: во всех этих разговорах Кондрашов был не просто главным героем, а даже складывался его образ как положительного героя, поступки которого вполне могли быть примером для подражания каждому, кто хотя бы на чуть-чуть испытал в своей жизни это жгучее чувство

любви. Но Кондрашов этого не знал и знать не мог. Все эти скамейки, эти сборища, мимо которых много раз на дню он проезжал по деревенской улице, как настоящие мастера-мукомолы, неспешно перемалывали в пыль все его косточки, но как бы безболезненно для него и без ущерба для здоровья. И – слава Богу.

## 5

На майские праздники закуковала кукушка, подала голос и затихла; потом снова – коротко так; и опять тишина, словно притаилась где-то и ожидает, кто откликнется ей в этой земной благодати, наполненной влагой вчерашнего дождя и ночной росы, теплом и светом и запахами первой зелени. Откуда-то издалека – эта ли скиталица, другая – ещё такое же ку-ку, неторопливое, как бы задумчивое, обременённое заботой бытия.

Кондрашов услышал её рано утром, когда садился в машину; и сразу вспомнилось детство. Их ребячья ватага в своих заботах носилась по всей округе: то за огородами, которые выходили к полям, засеваемым коноплём, рожью или горохом; то выкатывалась на высотки, где по склонам оставались от войны окопы и блиндажные ямы; то сваливалась к лугу, помеченному глубокой воронкой от разорвавшейся авиабомбы, которая даже в самую сухую погоду была с водой: сколько лет от войны, а следы её – вот они, и ещё долго будут; ватага к речке, вдоль неё, в поисках, где поглубже; а потом, уже после купания, усталые, мокрые и холодные,

с гусиной кожей, они отлёживались в каком-нибудь поросшем мелкой травой окопчике, где было солнечно, тепло и тихо. Размеренное ку-ку могло достигнуть где угодно; и тогда они замирали, дожидаясь, пока судьбой обиженная птица поговорит с далёким незнакомцем и замолчит; и в наступившей тишине кто-то из них, спеша опередить всех, скороговоркой спрашивал: «Ку-кушка, кукушка, скажи, сколько мне осталось жить?» Кукушка начинала отмерять года, а все следом за ней считали: «Один, два, три...».

Ах, эти печали детских лет! Как же неловко становилось перед друзьями, когда пернатая предсказательница была скупее всех скупых: прокукует раз-другой и замолчит, как на посмешище: мол, получай своё сполна...

Картины детства у Кондрашова перед глазами, и голос кукушки рядом – вот он, такой желанный. И в наступившей затем тишине, как в те далёкие годы, забыв обо всём, чем была наполнена его сегодняшняя жизнь, Кондрашов прошептал: «Кукушка, кукушка, скажи, сколько мне осталось жить?» Кукушка откликнулась не сразу: она как бы подумала некоторое время, что сказать этому взрослому человеку, которого видела и слышала здесь много раз, пролетая по своим птичьим делам. «Ку-ку, ку...» – донеслось потом до Кондрашова, и сразу же, на птичьем полуслове, оборвалась его будущая жизнь; и, как в детстве, обида ли, неловкость или ещё какое-то доселе неиспытанное им чувство сдавило грудь, подступило к самому сердцу. Но Кондрашов ещё не успел ничего подумать, как пропавший было голос

пернатой предсказательницы вместе с эхом снова покати́лся над огородами и дальше, вернул его к жизни. «Ку-ку, ку-ку, ку-ку...», – отсчитывала кукушка; «три, четыре, пять...», – итожил Кондрашов; и тут же его накрыла теплая волна прихлынувшего счастья.

«Не скупится», – в довольстве подумал он. А кукушка всё отсчитывала и отсчитывала, словно понимала состояние его души; и в какое-то мгновение ему подумалось, что дело не в щедрости её, а просто эта пернатая предсказательница уже несколько раз сбивалась со счёта и каждый раз по-новому начинала свою извечную процедуру. В эту счастливую минуту перед ним промелькнула вся его жизнь – от той самой беспокойной мальчишечьей ватаги до самых последних сегодняшних дней, которые с переменным успехом несли ему неудачи и потери.

Конечно, есть у него замечательные дни, которые давно позади, в тех годах, когда ещё учился в школе и в институте, а потом приехал работать в колхоз, – так думал он всегда. Но время шло; оно стирало в памяти какие-то подробности событий, лица однокурсников и их фамилии, и оставалась на небосклоне его жизни только светлая полоса – как след тех давних-давних дней. А ближе к нему, на всём пространстве было ещё светлее, сияло и переливалось красками всех времён года и звало к жизни. Они, да, да, они, – Наталья и Алёнка для него теперь той светлой полосой, сияющей в просторах земного бытия; и в его сегодняшних днях ничто не могло затмить этот удивительный свет. Но вот

совсем близко, по светлому краю небес легла чёрная полоса недавних дней: смерть отца словно оглушила его, болью отозвалась в груди, но свет в глазах не померк – он звал его к жизни.

А какой она будет у него дальше, Кондрашов особо не задумывался; но он не представлял себе ни дня без них – это было чувство родства, которое давным-давно поселилось в нём и крепло с каждым прожитым днём.

Он не был кабинетным работником, но после завершения полевых работ всегда много времени проводил в кабинете; вместе с главными специалистами прикидывал, сколько денег выручат от растениеводства, на что рассчитывать до конца года от продажи молока и мяса, благо скота на фермах за лето прибавилось: Кондрашов не пропустил мимо ушей совет Николая Максимыча и закупил у населения и поставил на откорм бычков и тёлочек. Рассчитывался за них всем, что просили люди и что, естественно, было в хозяйстве: зерно отдавал по себестоимости, то есть намного дешевле закупочной цены; обещал сахар, но при этом говорил, что даст позднее, когда пойдёт сахарная свёкла; обещал и деньги – их не было, и сам он весь в долгах, но ведь когда-то же они будут.

«Ничего, пока затягивай пояс, чтобы пережить самое тяжёлое время. Потом полегчает», – поддерживал его Николай Максимыч, который хорошо знал, насколько туго он затянут и как сложно это сделать: хозяйству практически перекрыт кислород со всех сторон,

не продохнуть. Что-то из трудностей, конечно, осталось позади – это когда приближался учебный год и люди шли к нему в кабинет только за деньгами, чтобы собрать детей в школу. Здесь пригодилась подсказка Любочки Суетовой: в срочном порядке выбраковали и отправили на забой из поголовья дойного стада всех больных, старых, малоудойных коров, и вырученных за них денег хватило всем нуждающимся. Конец года – вот он, рядом, и счётные работники бухгалтерии трудились в поте лица, благо, им было что считать: урожай против прошлогоднего выше, надои тоже, тем самым они компенсировали ожидаемый недобор молока от выбраковки коров дойного стада. Но на перспективу обстановка складывалась тревожная: поползли слухи, что цены на зерно будут падать; и в то же время на горячее они уже пошли вверх: что ни месяц, то дороже.

Главный агроном, этот незаменимый Михал Савелич, прикинул наперёд и перед самыми новогодними праздниками огорошил:

– По технологическим картам обсчитал затраты, на планируемых площадях они увеличатся на треть.

Кондрашов на его слова отреагировал не сразу, помолчал несколько, как бы переваривая сказанное, и сделал вывод:

– Я заметил, что с каждым годом мы всё труднее выходим из уборочной. Объём работ большой, средств не хватает. Какой-то порочный круг. Что будем делать?

– Не знаю, – пожал плечами Лылов, – точнее, знаю: сеять. Но об этом говорить ещё рано: посеять-то мы

всегда посеет, все сложности у нас появляются с лета, к осени, значит, там и видно будет, что и как.

И Кондрашов согласился с мнением главного агронома, решив не терзаться в догадках раньше времени, хотя и знал, что сделать это ему не удастся. И точно: шли дни, и он постоянно возвращался в мыслях к финансовым проблемам далёкой ещё весенней посевной; и даже открыто завидовал руководителям других хозяйств, у которых дела шли совсем не лучше, чем у него, но они особо не ломали себе голову по этим вопросам: за них думали руководители агрофирмы.

Кондрашов хорошо запомнил последнее крупное совещание по вопросам реорганизации сельхозпредприятий, где под традиционным административным прессом новой власти не устоял пока ещё советский председательский корпус. Районное начальство, как в добрые советские времена, отстучало кулаком по столу, требуя надои, привесы, урожай; рецепты успеха давали те же: пашите, сейте с удобрениями, убирайте вовремя и без потерь, скотину кормите и доите! В рыночной неразберихе каждый из руководителей выискивал для хозяйства наиболее приемлемые пути, чтобы выжить, работал по рецептам и при этом постоянно помнил, что начальство держит кулак за спиной; но, к великому сожалению, денег в кассе не прибавлялось. На том самом совещании сказали конкретно: губернатор научно обосновал необходимость создания крупных агрохолдингов, которые должны взять на вооружение рекомендации учёных, – это, мол, единственный путь

вывода сельхозпредприятий из финансового тупика. Как всё будет выглядеть на практике, давал разъяснения прибывший вместе с ответственными и безответственными работниками областной администрации кандидат экономических наук.

– Всё делается просто, хотя без сложностей не обойтись, – говорил он. – Основные фонды и оборотные средства надо поделить поровну на паи между работниками предприятия плюс теми, кто обслуживает социальную сферу, то есть работниками образования, культуры, здравоохранения, и выдать им документ, подтверждающий наличие у человека собственности, в данном случае земли и имущества. А затем проводите собрание и принимайте решение, что людям делать со своими паями: самим ли работать на своей земле, передать ли кому или продать. И только следующим этапом будет вступление в агрофирму.

Дальше совещание проходило бурно, было много вопросов: как, например, быть с долгами? в каких размерах и будет ли оказываться помощь в материально-техническом обеспечении? И на них учёный не задерживался с ответом:

– Да, агрофирма как юридическое лицо и правопреемник решает все вопросы; да, агрофирма держит на контроле все финансовые операции с кредитными организациями. А вообще, разработан проект устава, в котором всё предусмотрено.

Из всего услышанного Кондрашов для себя сделал вывод, что, войдя как подразделение в агрофирму, хо-

зййство практически лишается статуса юридического лица и, следовательно, самостоятельности; в общем, всё будет решаться там, наверху, а им остаётся только одно: пахать, сеять, убирать, кормить и доить коров.

– Это уже делается в практической плоскости, да-да, в нашей области, так что мы будем не первые, – сказал ему Николай Максимыч, когда после совещания Кондрашов зашёл к нему в кабинет. – Дело, конечно, добровольное, но при всём при этом надо считать и принудительным. Думаю, что и землю скоро приберут к рукам: земля сегодня – самый дорогой товар.

– Она всегда дорого стоила, – согласился он. – А что же ты сидел там и молчал, ведь ты начальник управления сельского хозяйства, а ещё коммунист?

Вопрос Кондрашова он посчитал за упрёк:

– Я не должен оправдываться. Видишь, под каким соусом разворачивается кампания: новые технологии, научная организация труда, продовольственная безопасность страны, – с советских лозунгов и призывов пыль стряхнули. Против этого разве можно идти. Да и губернатора обком партии поддерживает.

– Я что-то начинаю не понимать нашего губернатора, – сказал Кондрашов. – Ещё недавно он призывал распустить колхозы и раздать землю крестьянам, по сколько придётся на каждого, чтобы люди на своей земле сами пахали-сеяли, чтобы скот разводили в своих сараюшках да на своем пастбище выгуливали. Зачем он убеждал всех, что страну прокормят только мелкие крестьянские хозяйства?

– Это не личная затея губернатора. Был такой министр Иван Силаев, который всё реформировал сельское хозяйство, а губернаторам что оставалось: приказали – делают.

– Да, и до нас эта волна тоже докатилась. Ты же знаешь, что кое-кто из колхозников, самые лихие, попробовали – плохо получается, и дела свои быстро свернули.

– Всё верно, Иван Дмитрич, – согласно кивнул головой Николай Максимыч. – Людям на имущественный пай в колхозе нечего было получать, а с голыми руками на земле не работают.

– Я на эту авантюру не пошёл, – усмехнулся Кондрашов. – И люди у меня так же думали. И вот теперь нас разворачивают в обратном направлении, другую дорогу указывают: мол, только крупные агрохолдинги принесут изобилие и обеспечат продовольственную безопасность страны. А я и тут не согласен, и люди мои не хотят идти в агрофирму.

– Это дело для тебя может плохо кончиться, – предостерег его Николай Максимыч, – займутся тобой на полном серьёзе. Но потянуть время ты можешь, а там будет видно.

Он сделал небольшую паузу, вероятно, обдумывая, что сказать и как сказать, и продолжил:

– Правильно мыслишь, есть позиция, а это значит, Иван Дмитрич, тебе давно пора быть в рядах Коммунистической партии Российской Федерации. Ты помнишь о нашем с тобой разговоре на эту тему?

– Помню.

– И что?

– Да всё дела да дела, потом похороны за похоронами.

– Такие беды переживают все. Ты мне скажи сейчас конкретно: идёшь?

Взгляд у Николая Максимыча прямой, в нём вопрос – такой же; и такой же был взгляд у Кондрашова, но только без вопроса, и ответ, тут же подкреплённый их дружеским рукопожатием.

Все последующие дни Кондрашов постоянно возвращался к тем разговорам, – очевидно, причиной тому была насторожённость, поселившаяся в нём: он и не заметил – когда, но она в нём жила, не давала покоя. «Конечно, они там всё просчитали, иначе не вязались бы с нами, – думал он. – Ну, хорошо, вошли мы в агрофирму, работаем; агрофирма – юридическое лицо, двигает к нам науку, помогает рассчитываться за кредиты...»

Мысль прервалась неожиданно, словно споткнулась на вопросе: «Вдруг с кредитами не рассчитаемся, а там ещё их наберут неизвестно на какие цели?» А потом она побежала дальше: «Да нет, известно: на зарплату – штат-то, конечно, большой и оклады себе солидные определяют; на транспортные расходы, командировочные, а ещё офис хороший нужен со всей современной начинкой. Но банки кредиты дают только под большой процент и под честное слово совсем не дают, а только под залог. Завтра обанкротится агрофирма – и никто

из её руководящих чиновников, потеряв хлебное место, особо не запечалится, потому что завтра найдёт другое, такое же хлебное; а здесь люди потеряют всё, что сегодня имеют, нажитое своим трудом. И без земли останутся, если земля – как товар уже; и поделаться ничего нельзя будет: бесправными делают, а уставы для этого и принимают такие, под себя, чтобы комар носа не подточил».

Насторожённость работала в нём, как закваска в бочонке с вином: «Если дело добровольное, – думал Кондрашов, – торопиться пока не буду. Время покажет». Но, думая так, он всё-таки экономисту дал команду работу проводить.

Все эти события в голове Кондрашова вихрем; они унесли его от кукушкиной щедрости через пустые чёрные огороды, через пойму, на которой уже успели побывать первые солнечные лучи; они заставили его заново пережить всё прошлое, выплакать все выплаканные слёзы, отрадоваться той самой радостью от украденной любви, которую он принимал и принимает как испытание, посланное ему с Натальей богом, на двоих.

Но вот он снова слышит явственно желанное куку, по-прежнему неторопливое, какое-то домашнее, словно птица, как и он, только-только перешагнула порог своего дома, спрятанного за цветущими садами, и спокойно обдумывает предстоящие дела, разговаривая на своём, птичьём языке. Потом кукушка замолчала, и Кондрашов под впечатлением от её щедрости порулил по родной улице, счастливо улыбаясь новому погожему

дню. Каким он будет для каждого живущего на этой земле – удачным во всех делах или, наоборот, удача отвернется от человека; радоваться ему или он будет залит горько-солёными слезами – никому предсказать не суждено. Так и Кондрашов: открытый со всех сторон, он принимал с достоинством всё то, что уготовила ему судьба; он жил заботами людей, которые его окружали, и невесело замечал, что с каждым прожитым днём забот этих у него прибавляется.

## 6

– Снегурочка-а-а! Доча-а-а!

Наталья стоит возле дома; она уже не кричит, как много лет назад, в дремотную тишину погожего июньского полдня, а ещё и ещё только вслушивается в неё; и Наталье кажется, что она вместе со всей округой слышит свой голос – он полон жизненных сил, в нём радость вешних дней, тепло светозарного июня и ласковость бабьего лета.

– Снегурочка-а-а! – плывёт над истоком мелководной Неручи, где бьёт бесчисленное множество прозрачных ключей, где в густых зарослях вихрастого ивняка наперебой поёт, квакает и крикает, где кипит жизнь. Ты, конечно же, снова догадался, дорогой читатель, что это Савельева Наталья стоит у калитки своего дома; погружённая в воспоминания о недалёком прошлом, она перебирает в памяти события тех дней, когда сама природа подарила им Алёнку, запеленав её

в белые снега вьюжной ночи и убаюкав колыбельной суматошного ветра.

– А-а-а! – слабым эхом доносится как бы из-под горы, где среди яркого многоцветья плавают сочные запахи вызревших ягод.

Господи, сколько раз за последние годы вот так же выходила она за калитку и ловила, ловила в тишине прихлынувших дней пропахшее ягодой эхо! Много лет уже позади, и Алёнка уже не маленький человечек. По прошествии времени Наталья также слышит не только свой голос и маленькой Алёнки, а и голоса своих старших дочерей – они доносятся до неё то по отдельности, то сливаясь в один; и различает их она в пенье птиц, в шуме ветра и шорохе трав, в каждом звуке, доносящемся до слуха. И всякий раз, когда Наталья замирает, чтобы ещё и ещё раз услышать родные голоса, на сердце ложится превеликая радость: да, вот они, часы, дни её настоящего женского счастья, когда в этой жизни ей ничего теперь уже не надо, кроме того, что имеет.

Лариса после своей свадьбы рассчитывала поработать с первоклашками до конца учебного года, а потом перебраться к Сергею, в Москву; но планы их как-то расстроились, и пришлось ей в школе задержаться ещё на год. И вот уже два года они обживают съёмную квартиру в столице. Лариса пробовала устроиться в школу – не получилось: там вообще к молодым кадрам относятся настрожённо; и она нашла работу по объвлению: воспитывает детишек дошкольного возраста у одного столичного банкира. Ничего, с детьми она

общаться умеет, зарплата хорошая даже по московским меркам; и мать не забывают: частенько приезжают на выходные. Да и как не приезжать, если не одна она их ждёт, а и Серёжкины родители тоже; её проведают, ночевать же идут к Ивану с Маруськой, а ещё забирают с собой Алёнку. «Ну что, Снегурок, – спросит её Лариса, – пойдёшь с нами?», а Снегурочка только этого и ждёт. Но Наталья не в обиде: вышла замуж – будь рядом с мужем днём и ночью. Правда, раза два оставалась у неё, – это, говорит, чтобы не забыть тепло родительского дома.

А сегодняшнее Натальино одиночество можно считать нормальным: два дня назад Алёнку забрала к себе Настюшка, как сказала, ненадолго, на недельку. Скучно, конечно, Наталье без неё, но нельзя и отказать было: уж так хотелось им вместе побыть; а Снегурочке тем более: семья-то у Настюшки пополнилась – два годика их сыночку будет, и повзрослевшая дочь на правах родной тётки любит возиться с ним, учить премудростям детской жизни. Паша усадил их на заднее сиденье, и, когда отъезжали от дома, всё махали ей руками в открытое окно, а Алёнка ещё кричала: «Мамка, не скучай, я скоро!» « Не поскучай тут, – с улыбкой подумала Наталья. – А сама, чуть задержись она на работе: «Мамк, что так долго не приходила, мне без тебя скучно было».

Долго стоять Наталье некогда, – это она вышла за калитку принести воды; и вообще, ей скоро уже надо бежать на ферму, потому как она по-прежнему числится дневным сторожем и обязанности заставляют её там

быть вовремя. А над посёлком ясный солнечный день, тепло и тихо, безветрие. Да и шуметь-то здесь уже некому: народу в посёлке поубавилось кратно. Как-то неожиданно быстро, один за другим опустели домишки; кто по болезни, кто по старческой слабости – заспешили старики доживать своё к детям, окопавшимся на стороне, а кого-то проводили по дороге на кладбище.

Опустел и соседский дом, не стало деда Ильи. После майских праздников посадили картошку, и он всё ходил наутро по краю огорода и прикидывал, что будет у него на бахче; а к вечеру вдруг слёг. В больницу ехать отказался, мол, свою болезнь он знает хорошо. Несколько дней полежал в немощи, постонал-постонал и затих. Так же быстро и схоронили – уже на другой день отстучали над его могилой лопаты копачей: какой-либо родни его из дальних краёв не ожидалось, и третьего дня по теплу решили не ждать; собственно, решал Иван. Дед Илья для неё был вместо родного отца: и советчик хороший, и такой же помощник в домашних делах, – это когда была нужда постучать молотком или топором; а уж с Иваном у него, несмотря на большую разницу в возрасте, была дружба крепкая. До сих пор Иван ходит в печали, она тоже море слёз пролила. Такая вот теперь у неё жизнь.

Пока до колодца, пока назад с полными вёдрами – от думок тоже не уйти. Чуть оступилась – вёдра качнулись, вода на босые загорелые ноги отрезвляюще, жгуче-холодная; да и день-то какой, самый разгар тепла и света. Вода в вёдрах на тенистой лавочке под окнами ещё не успокоилась, а она уже по тропинке от дома.

На подходе к ферме Наталья ещё издали увидела пастуха Еремеева: верхом на лошади он подъезжал с полевой дороги, которая ввела в дальние луга и поймы, где с весны паслось дойное стадо. Звали его Алексеем, по-уличному же Лёкой, – как он сам признался кому-то по приезду, так чудно прозвала его бабушка. Невысокого роста, суховатый, с виду лет сорока, он появился в деревне два года назад, и никто толком не знал, как он оказался здесь и где его родина. Севалкину однажды похвалился, что у него два диплома о высшем образовании и богатейшие родители, но где – не сказал. Неоднократные попытки друзей прояснить какие-либо подробности заканчивались ничем: он всегда умело отшучивался, отвечал с неохотой и как-то туманно, так что для его собеседника заданный ему неприятный вопрос делался как бы не главным и сам по себе отпадал.

Наталья уловила, что Еремеев стал посматривать в её сторону уже по первому году, и однажды в разговоре с ней, по всему не случайном, открылся, что был женат, но уже много лет в разводе. А в этом году встречи с ней стал искать настойчиво. Пастушил он на пару с Андреем Потёмкиным и, зная, что Наталья на ферме целый день практически одна, нередко отпрашивался у напарника на часок, якобы за папиросами, и каждый раз мимо неё не проезжал. За всё время у Натальи с ним было много разговоров, самых разных, но повода к тёплым отношениям она ему не давала, хотя Еремеева это, как ей казалось, особо не огорчало. И тогда она начинала ему грубить, потому что, ей также казалось, он

или взаправду не понимает, что у них ничего не может быть общего, или же попросту делает вид, что не понимает. И на этот раз у них было повторение пройденного.

Еремеев привязал лошадь за слегу, из которых был сооружён загон для молодых телят, потом покопался в ремённых подпругах седла, очевидно, убивая время, тем самым поджидая Наталью. Она подошла к нему сразу: как-никак, а всё-таки сторож и должна знать, зачем пожаловал, хотя знала – зачем.

– Да вот заехал на тебя посмотреть, – с напусковой весёлостью доложил Еремеев, – умираю без тебя.

– Не умри, а то коров стеречь некому будет, – иронически усмехнулась Наталья.

– Там Андрюха, и за двух справится. Я ему четвертинку посулил, и сигарет ещё; говорю, побудь один, пока я съезжу, с Натальей помилуюсь.

– Вот и вези, – оцетинилась сразу Наталья. – Шутник нашёлся. А вообще, Лёка, ты мне стал здорово надоедать. Я уже много раз говорила, что тебе возле меня делать нечего.

– Наталья, я не шучу, я к тебе на полном серьёзе, так сказать.

Голос Еремеева весёлости не утратил, хотя блеск его чёрных глаз заметно потускнел.

– Лёка, ты понимаешь русский язык? – спросила холодно.

– Понимаю, и ты должна понимать: я один, ты одна; у меня в Питере страшно богатые родители, зовут меня, а я всё не ехал. Уедем отсюда, куда скажешь.

Это предложение Еремеева: уехать, куда она пожелает, было для неё уже ново, но не настолько весомо, чтобы она над этим задумалась хотя бы на мгновение.

– Не одна я, у меня дети, внуки. И вообще, мне некогда и не о чем с тобой разговаривать.

С этими словами она развернулась и скрылась в телятнике; а сама испугалась: сейчас пойдёт за ней следом. Метнулась к окну – стёкла пыльные, засиженные мухами, затянутые мелкой сеткой паутины по углам; разглядела: Лёка и вправду хотел было идти вслед за ней, но вдруг остановился, поковырял носком ботинка землю, словно что-то разглядывая, и пошёл к лошади.

«И чего прицепился, – думала Наталья, обходя помещения и проверяя сохранность вверенного ей объекта, – напрямую говорю, что не нужен, а он всё своё долбит. И ведь не скажешь ему, что у неё Иван есть и больше ничего-то ей не надо. Как же, родители богатые, меня богачкой хочет сделать. Лёкиной женой я буду...» – и усмехнулась сама над собой. При этом её красивое лицо исказила гримаса отвращения, но тут же оно снова разгладилось, сделалось таким же красивым, каким было всего лишь несколько мгновений назад; и Наталья твердо сказала сама себе: «Это мне ещё одно испытание. Нет, Ивановой я буду, пусть даже не женой, а больше ничьей».

Потом она, как обычно, сидела на лавочке возле молочного блока – всё смотрела по сторонам, шурилась под солнцем, оглядывая небо с белыми и редкими облаками и недалёкую деревню, в центре которой светилось

шиферной крышей двухэтажное здание правления колхоза, теперь уже бывшего, где каждый день бывает её Иван. И снова думки, думки: они были всё те же.

## 7

У Марульки полное красивое лицо, волосы тёмно-русые, густые, ладно закручены на затылке и схвачены сиреневой заколкой. Она стоит перед зеркалом и – то одним боком к нему, то другим, чтобы получше себя рассмотреть. Но в зеркале Марулька только по плечи, и свою статную фигуру, которую так и не испортили годы семейной жизни, ей не видеть: зеркало небольшое, а Иван высокогато вделал его в стенку дымохода от водогрейного котла отопительной системы. Это на кухне, и Марулька удобно: если не на работе – целый день она здесь кругами, и каждый раз мимо зеркала, – ну как не глянуть на себя со стороны. Чтобы увидеть свою высокую грудь, которая заманчиво волнуется под кофточкой и просится наружу, Марулька приходится становиться на цыпочки; но всё равно Ванька молодец, и грудь ему нравится.

И ещё он постарался: в уголке пристроил телевизор – сказал, чтоб веселее было им, когда они здесь будут проводить время. Да нет, скорей всего, телевизор для неё одной, а самого Ивана и днём с огнём не сыщешь: говорит, что весь в делах. Только она и так видит, что не праздной жизнью живёт её муж. В обеде заскочит – скорей-скорей что-то съест, что-то не съест:

мол, некогда, и тут же умчится до потёмок. Уезжал то в Москву, то ещё куда-то далеко; а в Орёл или в Курск ему – как в поля съездить: затемно гуднёт за ворота, а к обеду его машина уже у конторы.

Однажды ему сказала: мол, Ваня, ты хвост истрепал по дорогам, да и опасно теперь стало ездить: машин много, всё аварии да аварии; а он: «Что же мне прикажете делать, если газ надо проводить? Вопросов этих, сидя в кабинете, я не решу». Но выматывался не зря: за лето по деревне смонтирован был газопровод, и к деревне трубы подвели; люди разломали в домах печи, установили котлы с дымоходами, и теперь им не надо завозить ни дрова, ни уголь. Говорят, уж как он обхаживал газовиков, особо начальство их, даже в бане колхозной парил. Ну как не обхаживать, если благо такое для людей обещано; а самое главное – всё для них обошлось без больших затрат: платили только за то, что делалось в доме, покупали котлы и газовые колонки. Люди особо нуждались в деньгах, и каждое утро в его кабинете толпа. И находил ведь, как-то сумел всем помочь, и теперь у всех по деревне праздник.

«Вот тебе и муж – объелся груш», – радуется в довольстве Маруська – и за Ивана, сумевшего сделать то, чего не смогли сделать до сих пор соседние хозяйства, и за себя в зеркале – с простой незамысловатой причёской и светлой улыбкой.

Но сегодня Маруська перед зеркалом не просто так: выходной день, и она собиралась пойти провести свекровь; Иван сказал, что подъедет попозже,

обещалась и Наталья. После похорон свёкра они стали чаще бывать у неё; принесут что-то из продуктов, расскажут новости, помогут в делах, которых, по правде сказать, не так уж и много теперь было. На первых порах, без хозяина, дела эти как бы сами по себе отпали, словно их в самом доме и вокруг него отродясь не было; словно все сараюшки, откоски, загородки и калитки – кто знает, с каких пор – стояли сами по себе и показывали всему миру завидные примеры долголетия. Но нет, пока жил свёкор, он как мужик и как хозяин дома на этом клочке своей земли, на мизерном – в масштабах государства, находил для себя каждодневно занятие, простую крестьянскую работу, которая нужна была для сохранения человеческого рода. Хозяина, мужика в доме не стало, а значит, в роду их, в Кондрашовском роду, поубавилось. Но живёт Иванова мать – это её свекровь, стоит дом, и хочется Ивану с Маруськой, и Наталье тоже, чтобы на этом святом для них месте всё было незыблемо и вечно.

Не сказать, что родители свои стариковские дни проводили шумно: да, были ссоры, когда коса находила на камень, но они напрочь прикипели друг к другу, и, может, поэтому свекровь к одиночеству привыкала с трудом. Да и привыкала ли; скорее, она жила новой для неё жизнью, но не могла уйти от прежней, в которой никогда не чувствовала себя одинокой, даже в самые плохие дни, когда сходились та самая коса и камень. Попробуй забыть голос человека, его лицо, руки, жесты и много чего ещё, что изо дня в день видела и

слышала; и думала с ним одинаково; а может, и по-другому, но она была с ним рядом, слышала его дыхание; и ещё всякие мелочи могла помнить свекровь, даже совсем незначительные, из которых складывалась её жизнь. Маруська это уже как бы прочувствовала: Иван на несколько дней в командировку – она в одиночестве своём не находит места, мается, в голову всякая чушь лезет. А у свекрови позади целая жизнь!

Своими посещениями они старались сделать её дни не такими мрачными, облегчить земную ношу, которую ей суждено нести по жизни в одиночестве. Иван постарался, чтобы в доме были газ и вода; Маруська с Натальей взяли на себя заботы об огороде: мать упорно не хотела расставаться с ним, а женщинам он был не в тягость.

Маруське захотелось ещё разочек крутануться перед зеркалом, теперь уже в лёгкой косынке на узелок, но не успела: за распахнутым окном послышался стук калитки. Наталья пришла с Алёнкой – это была теперь не забавушная Снегурочка, не тот самый цветик-семицветик, который вместе со звонким колокольчиком легко нёс на плечах Платонов Ванька во время первосентябрьской линейки. Рядом с матерью стояла стройненькая черноволосая девчушка с круглым загорелым личиком, на котором светили синевой, на месте глаз, два глубоких озера, а смуглую от загара щеку украшала крупная чёрная родинка. Алёнка поздоровалась первой:

– Здравсьте, тётъ Марушь.

– Здравствуй, солнышко моё, – обрадованно откликнулась Маруська.

Поприветствовала она и Наталью, при этом назвав её свахой; затем подошла к Алёнке, обняла её, слегка наклонившись, ласково потрепала за щеки:

– Молодец какая: умненькой растёшь, и красивая, – и продолжала тискать и приговаривать: – А нарядна что, и какая большая уже.

Алёнка с достоинством переносила неожиданно свалившиеся на неё нежности, но всё-таки признаки смущения на лице проявились. Пока её учила Лариса, они вместе ходили в школу, вместе возвращались, и частенько бывали в этом доме; а после отъезда сестры в Москву Алёнка не стеснялась и одна заходить к крестному, заходила и с матерью, и всегда их встречали так же радушно.

Наталья смотрела на них, испытывая душевную радость: ей всегда было хорошо от того, что Маруська с первого дня их близкого знакомства проста и доверительна в общении, что в доброте с ней рядом некого поставить. На предложение Маруської зайти в дом она отказалась; и они не стали ждать Ивана – куда он денется, придет, тут же, негромко разговаривая, направились к другому Кондрашовскому дому, с которым каждая из них была связана светлыми воспоминаниями, и для каждой они были дороги. Считаю, четверть века прошло с тех пор, как Маруська переступила его порог – под руку с Иваном; Наталью со Снегурочкой Иван занёс в дом на руках уже по прошествии после этого многих лет как самое дорогое на свете.

И встречала их на пороге мать: Маруську с Иваном – с чувством тревожной радости: хорошо, что сын обзавёлся семьёй, но как-то сложится его жизнь? Ивана с Натальей и Снегурочкой – со смешанными чувствами, но среди них не было ни одного такого, которое бы отталкивало их от неё. Мать приветила, не выказав недовольства, не осудила, не сказала им ни одного плохого слова; и только потом Наталья стала понимать, чего ей это стоило. Вот и в очередной раз она встретила их: снова всех вместе, но только без Ивана, и тоже на пороге; навстречу им с ведром в руке, сухонькая, из-под белого платка, в крапинку чёрную, седые волосы; шерстяной жакетик бордового цвета – сильно потёртый, видно, сто лет скоро ему, а мать никак с ним не расстанется; но голос бодрый:

– Не с пустым, проходите. Это я мусорок замела в коридоре, сейчас высыплю.

Но освободить ведро не стала: передумала; и поставила его тут же, поближе к забору, а сама повела их в дом. Они только через порог – мать, по своей природной хлебосольности, сразу к столу:

– Я вас сейчас покормлю, и внучке вкусенького приготовлю, – и уже к Маруське: – Ну-ка быстренько почисти три картошины, ведро вон в углу стоит.

– Бабушка Шура, мы с мамкой дома пообедали, – сказала Алёнка.

– Ты, может, и обедала, а по времени уже полдничать пора, день-то длинный теперь.

Алёнку поддержала Маруська:

– Ма, мы и вправду не голодны, и пришли не разъедаться, а в огороде поработать. Давай лучше потом, может, Иван подъедет.

– Потом, значит, потом, – согласилась мать. – Но внучку я всё равно угощу.

Пока она угощала её шоколадкой, а Маруся прятала в старенький буфет уже выставленную посуду, Наталья заглянула в комнатку, где много лет назад она лежала с только что появившейся на свет Снегурочкой. Там было всё так же: кровать-полуторка аккуратно застелена, и, кажется, всё тем же покрывалом... да, точно, тем же; слева, на стене, вешалка, на которой Ивановы старые пиджаки: он их отдавал отцу донашивать – что ни год, то пиджак, а тот их всё на вешалку да на вешалку, потому что не успевал это делать. Да и велики они были ему: к тому времени годы уже высушили его когда-то крупное мускулистое тело, а Иван входил в лучшие отцовские годы и был его копией. На тумбочке, что рядом с кроватью, тогда лежали Алёнкины пелёнки... Наталье показалось, что отсюда даже не выветрились запахи тех дней, проведённых в этом укромном уголке; и ещё подумалось, что это самое лучшее место на белом свете, и как бы хорошо было сейчас полежать с Алёнкой на этой кровати ещё.

– Дочь, поди сюда, – позвала она Алёнку; и когда она подошла и стала рядом, Наталья погладила её по голове, прижала к себе и дрогнувшим голосом прошептала:

– Снегурок, на этой кровати ты лежала в первые дни своей жизни. Здесь всё так же, ничего не изменилось, как в музее; бабушка даже сохранила покрывало.

Ни Алёнка, ни Маруся с матерью не видели Натальиных слёз – они должны были ещё только скатиться по щекам, но она смахнула их с ресниц кончиком платка. А мать всё-таки прочувствовала её состояние, словно прочитала её мысли, свои же при этом оставила при себе. Но она знала всё, или почти всё, связанное с её сыном и Натальей, с этой чудесной девочкой, которая приходится ей внучкой; и, наблюдая за Иваном, иногда его оправдывала: значит, не мог поступить иначе, если столько лет не тяготится связями с этой женщиной; да и она не лёгкого поведения, по всему.

А бывали дни другие, когда мать проникалась чувством сострадания к Марусяке, и ей становилось не по себе от того, что Иван, её родной сын, мог так поступить: изменить жене. А это значит: он пренебрёт законами морали, и семья может рассыпаться, если случившееся получит огласку. Мать многое повидала в жизни, на её глазах ломались человеческие судьбы, в том числе своих, деревенских, когда благополучным исходом в подобных ситуациях были крупные семейные скандалы, но семьи не распадались. А были с трагическим исходом, и семьи рушились.

Через несколько минут женщины уже копались в огороде, всё так же негромко переговариваясь; рядом с ними находила работу и Алёнка. Мать смотрела на них из окна, неспешно собирая на стол, раза два выходила на край огорода и всё вздыхала, вздыхала, вороша свои сокровенные мысли. Иван приехал вскорости. Мать хотела выйти ему навстречу, уже поставила тарелку с

варёными яйцами на стол, но что-то сильное, появившееся неизвестно откуда, сдавило её грудь, в глазах пошли тёмные круги, по телу слабость. Она оперлась руками на стол, боясь пошевелиться, потому что каждое движение отдавалось невероятной болью; потом хотела предпринять что-нибудь, чтобы избавиться и от боли, и от неудобства, которое ощущала, наклонившись над столом, но не смогла: жизненно важные органы отказывались подчиняться воле разума попавшего в беду человека.

Иван вошёл в дом, увидел мать, вяло склонившуюся над столом:

– Ты что, мать, тебе плохо?

Она попыталась что-то сказать ему – медленно пошевелила губами, но ни одного слова так и не осилила: всё здоровое и жизненно важное уходило из неё стремительно. Иван осторожно обхватил её руками и медленно, боясь причинить какую-либо боль, подвёл к кровати. Мать в бессилии опустила на неё, но сидеть уже не могла – сразу же упала навзничь.

Иван метнулся за порог, дальше – за угол, к огороду:

– Маруськ, скорей сюда! С матерью что-то!..

Через минуту все стояли у кровати. Мать лежала без движений, дыхание еле улавливалось, на бледном лице, уже потерявшем прежнюю выразительность, никаких эмоций: ни признаков боли, ни грусти или печали, ни обиды или недовольства не выражало лицо этой простой деревенской женщины, которая, словно находившись за день по дому в своих хозяй-

ских делах, ненадолго прилегла на кровати и вытянула уставшие ноги.

– Ма, что случилось? – Маруся наклонилась к ней. – Ты слышишь, ма?

В ответ ни слова, ни движения какого, только слабо-слабо дрогнули ресницы полуприкрытых глаз; и вдруг словно тень пробежала по лицу.

В доме стояла тишина; лишь было слышно, как отмеривали время на стене часы, давнишние-давнишние, не раз чинённые отцом, – ему их подарили как ветерану войны к юбилею Великой Победы.

Маруся всхлипнула, слёзы у Натальи; Иван сжал зубы, чтобы не заплакать: тяжёлый комок перехватывал горло.

Маруся взяла со стола зеркальце – небольшой квадратик, тоже сработанный отцом из осколка разбитого когда-то большого зеркала, и осторожно поднесла его близко-близко ко рту матери, подержала так: всё верно, стекло не потело.

И той же дорогой во второй раз за эти последние годы прошла похоронная процессия от Кондрашовского дома до кладбища. Значит, мать уже чувствовала, что недолго ей осталось свой век вековать, если попросила его на похоронах отца сразу отмерить рядом с ним землицы и для неё. Гроб опускали на верёвках; и вспомнились Ивану рушники материнской работы, с вышитыми петухами, длинные-длинные, на которых опускали отцовский гроб. После он всё тужил, что послушался тогда Василя, – надо же было тому сказать, что с кладбища ничего не

уносят, – и рушники засыпали землёй вместе с гробом. А мать их бережно хранила и достала из сундука в самый святой день. И сегодня этим рушникам лежать бы там – память же: память матери о своей молодости, и память о ней самой – это уже для детей и внуков. Но что делать, если так сложилось в тот скорбный час, и прошлого не вернёшь. И всё-таки, согласно неписаным законам, пока будет стоять Кондрашовский дом, пока не засохнут корни и ветви Кондрашовского дерева, память о родителях, об этих удивительных, самобытных рушниках из глубин ушедшего века будет оставаться на синем поле небес широкой и светлой-светлой полосой, зовущей потомков к жизни. Об этом и думалось Ивану в пустом родительском доме, куда тянуло его все последующие дни.

## 8

Удивительна человеческая жизнь! Казалось бы, всё просто: появился человек на свет, учится писать и считать, ума-разума набирается, – а всё это получает он в семье. Семья – это семь Я: дед с бабушкой – с одной стороны, дед с бабушкой – с другой, отец с матерью и сын, которого обучают писаным и неписаным законам общества, чтобы он крепил основы своего рода. Набравшись ума и повзрослев, сын обзаводится своей семьёй, находит занятие по душе, которое позволяло бы ему обеспечивать её всем необходимым. При таком раскладе – наслаждайся жизнью, человек, и пусть от

радости душа волнуется! И всё? Да нет, до того, пока не понесут его по деревенской улице в сторону кладбища, надо ему тоже суметь родить сына, построить дом и посадить дерево, то есть вернуть свой долг предкам, потому что в эту жизнь они его привели на всё готовенькое. И ничего, что предки на Сабуровском бугре: давние лежат на старом кладбище, а родители – на новом, что быстро прирастает по склону, рядом. Тут уже работает неписанный закон общества: сын готов вернуть долги, а некому, и тогда он передаёт их уже своему сыну, таким образом, делая его должником. Мол, пользуйся, кровный, и всю свою жизнь думай, как тебе со своим долгом рассчитаться, ведь, действительно, ты вырос на всём готовом: отец построил для тебя дом, посадил дерево. Без этого долга ты не прожил бы и дня, так что, родной, не только набирайся ума-разума и думай, но и делай для своих кровных, как делали предки из твоей большой родни.

В должниках всегда ходить плохо; и совестливый человек, созрев для самостоятельной жизни, избавляется от долга сразу, хотя, признаться, груз такой не каждому по силам. Но совестливый, к тому же, небесталанный, глядишь, с невестушкой уже проведаль ЗАГС и поговаривает о свадьбе; работу подыскал и так в неё вцепился – не оторвать; и дальше у него будет, как у предков: домик родительский обветшает – в нужные сроки вырастет другой, рядом, где родительский корень.

А если всё дело не в совести? Как говорят, плохая закваска в нём, не настоящая? Просто родился человек

с совестью, но бесталанный, не способный ни на что. И, может, совесть его мучает за тот самый должок перед предками, который обязан вернуть, но уже сыну своему либо внуку – разницы нет; а в силу своей неспособности хорошо делать то, что делают другие, или ещё по какой-то причине, от него не зависящей, он так и остаётся должником.

Для Кондрашова здесь всё ясно, как божий день: дом, дерево – они для последнего сына, который остаётся с родителями. Его сын строит дом и сажает дерево уже для своего сына. Но удивительна человеческая жизнь: многие из тех, кто живёт на деревенской улице, сами дома не строили, а колхоз за них постарался; и Кондрашов – не исключение. То ли добросовестным трудом человек его заработал, то ли вручили ключи авансом, как, например, ему: мол, молодой, ещё успеет отработать. Но факт остаётся фактом: бесплатное жильё!

Поди разберись, за что свалилась на человека такая благодать. И разбирались, и выводы делали разные, – это в силу всё той же бесталанности, а может, и, наоборот, в силу каких-то других, но уже ценных человеческих качеств. Вот она, современная русская деревня; и в ней уже много таких, кто считает, что не обязаны что-либо делать для погашения своего долга, и, вообще, они ничего никому не должны.

– Избаловали, – сказал ему на наряде Лылов, – и ты первый потакаешь им. Зачем ты отдал дом, который построили на пустующей усадьбе возле магазина, зятю

Махоркина, Генке Соловьёву? Он в семье последний, и жить бы ему с отцом: дом-то у Соловьёвых большой, места хватит; да и сами они уже в таком возрасте, что помощники нужны будут скоро.

– Семья же родилась, а на просторе дерево лучше растёт, – рассудил тогда Кондрашов.

– Возле родителей они семейную науку лучше бы освоили, – возразил Лылов. – А так что получается: жильём обеспечили – и успокоился, работать стал хуже. Ещё подай ему детский сад, а то бы дед с бабкой за ними приглядывали. Потом, посмотри, что у него вокруг дома: сколько живёт, а ни деревца не посадил. Какой он хозяин, если фундамент не может образить. Хозяин... – в голосе Лылова сквозила ирония, – да разве это хозяин, если отец ему всё из дома своего носит? Как-то смотрю: ковыляет по улице с котелком. Куда, говорю, идёшь? А он мне: мол, иду своих проведать, давно не видел; а сам котелок за спину. Прячь, не прячь, а запах-то чую, не спрячешь: похлёбочка с жареным лучком.

– Не думаю, что они без варева живут, – не согласился Кондрашов. – Стариковские причуды: бабка сварила – ему понравилась, видно, похлёбочка-то, вот и прихватил с собой, чтоб не с пустыми руками.

Воистину, прав был Герасимыч, когда повторял свою коронную фразу: «Разные мы с тобой люди», и, возможно, имел он в виду и таких людей. Герасимыч давно умер, а поговорка его осталась, и всегда ко времени. Какой Кондрашов сам, с какой закваской – об этом думал не раз, точнее, напоминала ему Маруська; и

он когда соглашался с ней, когда – нет, сравнивая себя с кем-то, но делал это без какого-либо превосходства и самомнения, а просто так – думал и всё. Например, свой дом не строил тоже – считай, колхоз ему подарил как молодому специалисту, приехавшему работать на село, и теперь он в должниках. Сын далеко; но и долги Кондрашов отдаёт по-своему: после смерти Герасимыча он всё-таки построил дом на колхозные деньги его семье, как и обещал ему ещё при жизни. По-разному могут говорить об этом, но, по его мнению, покойный за свою трудовую жизнь заработал не на один хороший дом; и можно смело утверждать, что колхоз постоянно его обижал в деньгах и в выходных днях, тянул из него последние жилы.

Такой, как Герасимыч, в деревне не один, и, кого ни коснись, все в своих неудачах винить будут только его: это он, скажут, виноват, что корова их осталась без корма и не вспахан огород, что мало получает за работу и не вовремя, и ещё много чего личного навешают на него обиженные. Но редко какой поймёт, что обложили колхоз со всех сторон и рвут на куски, как всю страну, и, чтобы выжить, нужно как-то перетерпеть это поганое время.

– Терпи ты, а я терпеть не буду, натерпелась, – отрезала ему Танечка Соловьёва, а по-деревенски – Соловьиха, жена того самого Генки, которому построили дом за счёт колхоза и за которого он постоянно получал выговоры от Лылова; Танечка пришла к нему в кабинет с заявлением на расчёт. – Я в доярки ещё девкой

записана, и каждый день в грязи по колено, хвост обтрепала – дальше некуда; а что имею и что вижу?

– Танечка, ну как что имеешь? – начал переубеждать её Кондрашов. – Какую-никакую зарплату платим, колхоз жильём обеспечил, – глянь, какой дом поставили; а место-то – в самом центре деревни, и всё рядом; хозяйство своё содержишь, и опять же всё колхоз обеспечивает кормами. Вот только пустовато у вас вокруг дома, а надо бы уже стоять и саду...

– Всё, всё, – перебила его доярка. – Нету больше сил терпеть дальше.

– Татьяна, ты, Татьяна, – покачал головой Кондрашов. – Ну, сорвёшься с работы, и куда потом?

– В город.

– Да, на тебя там сразу манна небесная. Хорошо там, где нас нет. Пойми: по всей стране разруха, безработица. Да ты хоть живёшь в своём доме, свой огород, на дворе живность – есть что подать на стол. В своём доме легче пережить трудное время; кстати, хорошо, что успели с ним: уже много лет не строим, не на что.

– А ты приехал бы и посмотрел, в каких условиях мы работаем, полюбуйся на нас. Это я пришла к тебе, в трёх водах помывшись. Я говорила зоотехнику не раз, а ему как мёртвому припарки. Дожди неделю, в загон заходить коровам и людям страшно. Мы-то в сапогах, а у коров вымя по грязи волочится. А ведь идёт не осень.

Кондрашову от её слов не по себе. Но что делать – слушай, правда глаза колет: началось лето, а они не построили

новый загон и даже не вычистили старый, в котором ещё в прошлом году, осенью, коровы утопали по колено.

– И зоотехнику говорили?

– Не раз. И заведующая обтрепала язык. У него, Иван Дмитрич, ответ один: солярки для бульдозера нет, председателю не до нас.

– Ничего себе заявки! – возмутился Кондрашов. – Оправдался, значит, и все дела. Во всяком случае, Татьяна, доложу тебе, что такой разговор у нас был, но ещё во время сева, когда коров не выгоняли на пастбище. Всё правильно: я о севе да о севе хлопочу; то деда Илью хоронил, то мать, а тут непогода свалилась, сама видишь. А там всего ничего надо бы сделать: с осени или зимой заготовить слег и столбиков, а по ранней весне соорудить новый загон – три человека за неделю вполне бы управились.

– Нарисовал, – засмеялась доярка, – хотя полегче стало; но, Иван Дмитрич, от слов твоих грязи меньше в загонах не станет.

Кондрашову жалко было расставаться с Танечкой: хорошая доярка, таких не только на второй ферме поискать надо; но Танечка не сдавалась:

– И не уговаривай.

– Татьян...

– Пойду, пойду, пока и вправду как бы не уговорил ещё на что-нибудь. А заявление оставляю. Это я сознательная такая: пришла, отпусти, мол; а могла просто бросить всё и не прийти, и весь бы разговор.

– А дальше что?

– Как все: сидела бы дома или в Москву: там деньги хорошие платят.

– Да говорю же тебе: хорошо там, где нас нет. Конечно, Москва с деньгами, но Москва тоже деньги любит: чтобы там прожить, деньги заплатить надо большие. И что у тебя останется? С гулькин нос.

– Хоть что-то; а здесь не лучше: то платишь, то нет.

– Да, задерживаем, но ведь всё равно отдаём. А в Москве – сколько примеров уже! – работает-работает человек, ему не платят, не платят, а потом – раз и выгоняют, и зарплату вообще не отдают. Хочешь на дядю поработать бесплатно? Да и на кого ты своих детей оставишь, ведь двое.

– На мужика. У них и бабка есть, без них не может и дня прожить. Они при мне от меня к ней сами убегают.

– Ты всё-таки подумай.

– Не-не, не уговаривай.

После её ухода стены кабинета Кондрашову стали тесны. Он не находил никаких оправданий, почему Карпушкин как главный отраслевой специалист не сделал самого необходимого: не создал надлежащих условий для нормальной работы людей. «Ведь главный специалист отрасли, можно сказать, хозяин, – негодовал Кондрашов, – вот и хозяйничал бы. Дома-то корова в чистоте, небось, стоит; хотя нет, с коровой он давно расстался – заботы не нужны, но всё равно его в такую грязь, в навоз и на аркане не затынешь». И ещё что-то в этом же духе – злое, грозящее разорвать грудную клетку на части, наполняло его организм и терзало,

терзало. А стены кабинета становились всё теснее и теснее, и мысли вразброс; и злость прорвалась наконец наружу со скрежетом зубов.

Кондрашов заметался по кабинету: от стола – вдоль окон и обратно; вдоль другой, глухой стены, к которой много лет назад случайным мастером-краснодеревщиком без определённого места жительства были сработаны, по последней моде – во всю стену, простенькие шкафы из коричневой деревоволокнистой плиты: с вешалками – для одежды и с полками – для газет, журналов и многого другого, что постоянно накапливалось на столе и начинало мешать его хозяину. Потом метнулся к выходу, и дверь захлопнулась за ним с такой же злостью. Не замечая встречавшихся на его пути людей, прошёл к машине, и её у дверцы злости оказалось не меньше. Он промчался по фермам: искал Карпушкина, готовый в ярости с ним сотворить и сам не зная что; но, к счастью обоих, так и не нашёл.

В заречных лугах, где стояли загоны для дойного поголовья и нетелей, было тихо; не слышно ни рёва коров, ни человеческого голоса: стада откочевали вдоль Неручи, до первого её притока, не широкого, но довольно глубокого и быстрого безымянного ручья. Там, на стрелке, рядом с водой, они будут наедаться на просторе до вечера. Трава вымахала по пояс, и сочная, влаги и тепла вдоволь, значит, пришла пора большого молока. Вот только загоны!... Кондрашов обходил их с одной стороны, с другой, и у него уже скоро пропало желание находиться рядом с ними,

потому что ему неприятно было даже смотреть на эту жуткую картину: надо же, до чего довели! И вдруг Кондрашов остановился: внутри как бы сработали какие-то тормоза. «Довели? – с сомнением подумал он. – Кто? Если Карпушкин, то надо говорить: он довёл. Но почему тогда доярка пришла к нему? Значит, и он сам причастен к бесхозяйственности; но если он руководитель, то надо принимать всё на себя и говорить: я довёл до этого, я не дал указание, я не проконтролировал. А как иначе?»

Кондрашов начинал остывать. Неожиданно память выхватила из прошлого: его принимают в партию, и председатель Сотов навешивает на него столько обвинений за якобы его недоработки, что сидящим на собрании коммунистам, наверно, стало страшно. А ведь в этих нерешённых в хозяйстве проблемах тогда был виноват, в первую очередь, сам Сотов, но вот своей вины не признал, а со злым умыслом перевалил вину на него. «Аналогичная ситуация?» – спросил сам себя Кондрашов. «Наверно, да», – ответил ему внутренний голос. «Да, да, да!» – застучали в голове лёгкие молоточки. Под этот стук он снова сел за руль и направил машину к стаду – поговорить с пастухами, посмотреть, как ведут себя коровы на вольном выпасе. Ехал медленно; машину мягко покачивало на небольших кочках, трава шуршала по днищу кузова, сбитые буфером розовые, синие, жёлтые лепестки порхали вверх и падали на капот, некоторые из них встречный ветер подхватывал и уносил в сторону.

К нему верхом на лошади подъехал один из пастухов, Андрей Потёмкин. Поздоровавшись, Кондрашов стал его расспрашивать, как им здесь живётся-работается.

– Коровы, как на даче, – весело ответил Андрей, спрыгивая с седла. – Хотят – ходят, хотят – лежат. Отлежались – снова ходят. Мы тоже по такому графику. Травостой хороший, не застарелый, сочный, так что наедаются быстро, а пьют мало. И пока спокойно: мухи особо не надоедают.

– В загоне долго стоят?

– Да разве простоят они там долго? Им полежать в обеде надо, а там не ляжешь. Туда заходить страшно.

– Мне сегодня доложили, сейчас посмотрел.

– Мы без докладов все насмотрелись, – затягиваясь сигаретой, рассказывал Андрей, – завфермой каждый день видит, зоотехник, если появится, скорей назад от бабьих матюков: он боится доярок-то, вдруг да и затащат в загон. Вот они и решили к вам докладчика заслать, и выбрали, кто полише, – Танечку Соловьёву. Сидели тут и писали заявление. Сообща решили: если за неделю не поправится дело – все вёдра бросят, и ни одна в загон не зайдёт. Там доильная установка вся уже утопла.

Андрей этой новостью Кондрашова добил; но виду он пастуху не подал, а только поддакнул ему:

– И ничего не поделаешь, бросят: каторга, да и только.

И, уже садясь в машину, спросил:

– Один со стадом? А где напарник?

– Еремеев? – переспросил Андрей. – За сигаретами отпросился. Говорю ему: нам до вечера хватит, а он всё равно умчался; сказал, скоро вернётся.

Довольный от разговора с пастухом, Кондрашов тем же путём выехал на просёлочную дорогу, которая вела от луга к ферме. Машина, не пыля, по-тихому катила вдоль огородов. Возле крайнего, рядом с дорогой, высокий и седой мужик, наклонившись, вострил бруском косу. «Вот оно, послевоенное поколение, не выпускает до сих пор косу из рук», – Кондрашов узнал в нём старика Потапова и притормозил, вылез из машины.

– Да решил сбить сорнячок, – вытирая потный лоб, сказал старик. – Будет стоять – натянет в огород. Слабоват я стал, а больше некому; но справился уже.

– Кого-нибудь попросил бы, – попробовал он дать совет.

– Говорю, некому. Теперь в нашей округе тихо. Бывало, к сенокосу в каждом дворе тюк да тюк – отбивают, значит, косы; а кто-то вжик да вжик – точит уже и пробует, это отлаживает, значит. Теперь глушь одна стоит, и способных отладить правильно косу – раз, два и обчёлся.

И тут же любопытный старик подбросил вопрос:

– Где председатель ездил?

– К стаду надо было, вот и проехал.

– Да, трава прёт – по всему молоко будет, только скотину надо больше на траве держать. Я вот смотрю и не пойму, как они стерегут. Этот приبلудный – Еремеев, кажется, каждый день через день, но часто, в общем, от

стада и прямо на ферму. Говорят, с Натальей Савельевой у него что-то, в общем, шуры-муры. И сейчас там, недавно промчался, чуть ли не в галоп.

У Кондрашова дрогнуло сердце. «Ну и день сегодня выдался, – подумал он, – одно за другим, и всё круче».

Старику, очевидно, хотелось поговорить ещё, но Кондрашов с ним тут же распрощался, завёл мотор, а вот куда ехать – уже не соображал: всё те же молоточки снова застучали в голове. Что делал дальше, с кем встречался, что говорил – он практически помнил совсем плохо: всё было как в густом тумане, с редкими-редкими прояснениями, когда можно было определить, что он ещё не утратил способность заниматься какими-то хозяйскими делами.

Наутро, уже успокоившись, он собрал у себя в кабинете всех специалистов животноводческой отрасли; и разговор был злым, напряженным. Карпушкин сидел потный и красный от полученной взбучки, которая была ему приготовлена после посещения всех ферм и загонов. Кондрашов сначала попросил доложить о положении дел на фермах заведующих; и Любочка Суетова, не прибавляя и не скрывая ничего, как на духу, рассказала, что много раз просила Карпушкина решить вопрос по бульдозеру, чтобы вычистить загоны, – пусть не все, а хотя бы тот, где стоят доильные установки; а ещё лучше – построить новые, но уже в другом месте, повыше, где в непогоду бывает гораздо суше.

Карпушкин отбивался, как только мог, но, убедившись в бесполезности своих усилий, под конец замолчал, только нервно покашливал и тяжело дышал.

– Ты хозяин в отрасли, в твоих должностных обязанностях записано, чем ты должен заниматься, – неторопливо, чётко выговаривая каждое слово, словно забивая гвозди, говорил Кондрашов. – Люди нужны – подбирай, они все в деревне на виду, договаривайся по оплате. Деньги нужны – обращай ко мне. Я был занят другими делами и понадеялся на тебя, что дело сделаешь. Но я же тебе не говорил не строить новые загоны и не запрещал чистить старые. Так почему ты не работал, объясни нам.

И Кондрашов стал молча смотреть Карпушкину в глаза, ожидая, что он скажет. Карпушкин встал, но ничего существенного от него так и не услышали.

– В солярке я тебе отказал, – добивал его Кондрашов. – Да сев шёл, а с топливом у нас напряжёнка всегда, потому и сказал тебе, что надо подождать с неделку. Ну и возвратился бы к этому вопросу сразу после сева; а ещё лучше, если бы не ждал, а сразу людей – и за слегами в лесничество. Загоны давно бы уже стояли.

– Иван Дмитрич, – встал главный ветврач Пичугин, которого он приглядел среди выпускников сельхозинститута ещё по первому году своей работы в председательской должности и который все эти годы смело и грамотно решал отраслевые вопросы, – я Карпушкину не раз говорил, что в таких условиях, в каких сейчас находятся животные, можно ожидать вспышку любой болезни. И второе: как мы ещё умудряемся продавать молоко первым сортом.

– Это уже дояркам надо вешать по медали, – сказала Любочка Суетова. – Вы, Иван Дмитрич, к зарплате

повысили бы надбавку за качество молока. Сами видели, как даётся им этот первый сорт.

– Да, – согласился Кондрашов. – главному экономисту надо пересчитать все затраты и утвердить новые надбавки.

В кабинете повисла напряжённая тишина – все были в ожидании: что-то скрывается за его паузой? Он это прочувствовал и продолжил, как бы подводя итог:

– А пока скажу одно: если бы сортность молока снизилась, хоть на одну десятую процента, или, не дай бог, это ещё случится, ты, Карпушкин, ищи тогда себе сразу другое место работы. А пока поступим по-советски: главному зоотехнику за бездеятельность, – здесь он на секунду снова сделал паузу, всего на одну секунду, потому что вопроса для него не существовало, – обойдёмся строгим выговором, а все остальные считайте, что я вас предупредил о персональной ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Все последующие дни эти события буквально для всех стали не только темой особых разговоров, но и своего рода руководством в конкретных делах, потому что каждый из них был по-своему прав, и на каждом лежала определённая доля вины.

## 9

Ровно через неделю на заречных пастбищах для дойного стада стоял уже новый загон. К нему перекочевал

небольшой дизельный генератор, от которого и протянулись электрические провода к доильной установке.

– Ох и председатель, – игриво заговорила с ним Танечка Соловьёва, когда Кондрашов приехал туда перед обеденной дойкой, чтобы лично убедиться в сделанном. – Не успели загнать коров, а он уже тут как тут. Либо решил обмыть загоны с нами.

– Ох и шутники, – в тон ей ответил Кондрашов. – Я подписал, Танюша дорогая, твоё заявление. Можешь подойти за расчетом.

– А я передумала, – захохотала она.

– Чего так?

– Да ты, Иван Дмитрич, даже понравился мне, когда уговаривал не уезжать. Умеешь уговаривать, и я вот согласилась. Это надо быть набитой душой, чтобы от такого мужика уехать. Да и глянь, в чём я теперь обута.

Она приподняла юбку выше коленей; ноги, обутые в красивые туфли, поставила вместе и попрыгала на них; и вдруг – правую ногу вверх, на другой крутанулась перед ним, как балерина, и снова поставила ноги вместе.

– Ох и Соловьиха, ох и Танечка, – покачивая головой и прищёлкивая языком, Кондрашов прошёл мимо неё и ущипнул за бок. – Как только Генка с тобой справляется.

– А он, Иван Дмитрич, может, и не справляется; может, ему помощник нужен.

– Если нужен, то я как руководитель буду думать. Что-нибудь придумаю, ведь вот помог же: загон

построили, – это по твоей просьбе, кстати; и вторую твою просьбу выполняю.

– Для меня в этом деле что-нибудь не годится, – снова хохотнула доярка. – Что-нибудь у меня и дома есть.

Доярки слышат их разговор, посмеиваются; им весело, потому что по загону, вокруг доильной установки ходят уже не в резиновых сапогах, не с грязным подолом, а посуху, и синие халаты на них только что из магазина. Смотрит на них Кондрашов – и самому приятно быть с ними, видеть их весёлыми и довольными.

Пригнали коров; они спокойно зашли в ворота, которые пастухи тут же перекрыли длинными березовыми слагами. Андрей Потёмкин залёг в тень, за стоящую неподалёку будку от ветеринарной спецмашины; Еремеев снова в седло и рысью по просёлку в сторону деревни.

Кондрашов понаблюдал, как доярки принимались за работу, походил вокруг молочной посуды, вокруг котла, в котором Севалкин, откомандированный вслед за дойным стадом, кипятил воду, заглянул в будку: интересно, что там у них.

– Нечего там смотреть. Хорошо, где есть от дождя спрятаться, – пояснил посматривающий в его сторону Потёмкин.

– Не протекает? – спросил Кондрашов.

– Советской постройки ещё, гарантия на полвека. И материал прочный: с машины упала, когда привезли, – даже нигде не треснула.

– А ты, Андрюха, опять один стерёг? – без задней мысли спросил он.

– Не, вдвоём. Приблудный опять за сигаретами сорвался. Сказал, если задержится, скотину выпускать без него.

И сразу вспомнился Кондрашову разговор с ним недельной давности, когда вот так же, по-простому, доложил ему Андрюха, что его напарник Еремеев умчался за сигаретами; потом услышал голос старика Потапова: «Говорят, с Натальей Савельевой у него что-то, в общем, шуры-муры». «Ещё чего выдумываю», – обозлился он сам на себя; но настроение уже начинало портиться – это как погода: то солнце, солнце, и вдруг лёгкий ветерок, потом какая-то хмарь, и небо незаметно так начинает затягивать.

Совсем затянуло небо, и какой-то размазанной чернотой, когда уехал от загона и с полевой дороги свернул к ферме, но сразу же остановился: там, возле телятника, в котором когда-то работала Наталья и который горел, но сразу же был восстановлен, стояла лошадь пастуха, привязанная к электрическому столбу. Его и Наталью он разглядел у самых ворот: они стояли напротив друг друга – то ли только встретились и собирались зайти в телятник, то ли вышли из него и прощались. Дальше смотреть на эту картину Кондрашов не мог; он круто развернул машину и, разбрызгивая лужи, оставшиеся после недавних обильных дождей, поехал прочь. Но, как и неделю назад, когда услышал от Андрея Потёмкина и старика Потапова о каких-то связях приблудного с Натальей, причём для него это было убийственной новостью, а её, оказывается, знала вся деревня, он не

сразу понял, куда едет и куда ему надо. «Ужас, – думал он, – обвела вокруг пальца, как ребёнка. Оказывается, вся деревня знает давным-давно; да что там деревня – вся округа: в каждом посёлочке по берегам Неручи, где сегодня осталось всего по два-три дома, страшно как любопытные старушки давно уже не считают это за новость».

И снова, как и неделю назад, в голове застучали молоточки: сначала редко-редко, потом зачастили, зачастили, – как барабанные палочки, дробью.

Дорога вывела Кондрашова в поля. Он снова оказался на том самом просёлке, по которому много лет назад в предновогоднюю метельную ночь спешил с Натальей в роддом. Здесь, среди снежных заносов, его Воронок сбился с дороги, здесь он услышал первый крик их дочери Алёнки-Снегурочки; и только сейчас Кондрашов понял, что все эти долгие годы, сам того не сознавая, в самые плохие дни он вовсе не случайно оказывался именно здесь. Зимой ли, весной или осенью, в снег или в дождь, или в погожие дни перволетия, – да в любой день, когда его душа искала успокоения, он стремился проехать по этой дороге. И тогда в нём оживали те же чувства, которые волновали его, когда, охваченная страхом и болью, Наталья уже оставалась без сил и не могла даже говорить, а только постанывала и с прихлынувшей материнской радостью слушала первые крики их второго ребёнка. «Второго? – в голове у него как заклинило. – Почему он так думает? Да, конечно, по законам природы, Снегурочка у них вторая, а первого

их ребёнка они... она похоронила, и он узнал об этом много позднее. А когда узнал – казнил сам, что в те дни сделал что-то не так. Наталье об этом не напоминал, даже не упрекнул её ни разу, потому что видел, как плохо было ей самой, совершившей такое, на что в другое время никогда бы не согласилась.

Совсем не случайно оказался он именно здесь и в тот самый день, когда умирал его отец. И вот он снова на просёлке, на этом святом для него месте; и не только для него – и для Алёнки, и для матери её, потому что палатой родильного дома для них стал этот просёлок, это поле, занавешенное белыми простыньками снегов, подсвеченных метельными мерцающими всплесками».

До этой минуты Кондрашов думал именно так; теперь же его мысли пошли в другую сторону. То, что он слышал от людей и что увидел сам, заставляло сомневаться в неразрывности его связи с любимой женщиной. «Зачем ты меня обманываешь? – этот вопрос он адресовал Наталье. – Если разлюбила – так и скажи; или по-тихому, на ушко, или в гневе, как раньше могла: мол, кобель; и дура, что под меня легла. Я понял бы и переборол себя; и не гонялся бы за тобой, как делал все эти годы. Это же не один год, не десять, а больше: как сказал им друг по институту, сколько они приворовывают любовь, по столько в нашей стране уже не живут, – значит, много; значит, в своей украденной любви они давно долгожители, и при этом продолжают приворовывать. За воровство судят; и уже через сколько

судов-пересудов они прошли, и, выходит, теперь их надо называть рецидивистами.

Так что же теперь случилось с тобой: или совесть пробила, и решила покаяться? Или просто пошла дальше?» Вопрос повис в воздухе: отвечать было некому. И Кондрашов, один-одинёшенек на заросшем травой просёлке, не мог ответить на него: ответ носила в своём сердце его любимая женщина – Савельева Наталья, а рядом её не было; и теперь Кондрашов не мог сказать даже сам себе, захочет ли он после всего услышанного и увиденного искать с ней встречи. Скорее всего, нет, потому что он уличил её в измене, во лжи; Наталья надсмехалась над его чувствами, над самым святым, – оно лежало лёгким-лёгким облачком в левой стороне груди, где билось его ревнивое сердце, и называлось одним довольно простым, но таинственным словом: любовь. И если такое произошло, то ему ничего не остаётся делать, как смиренно принимать очередной удар судьбы и жить дальше. Как жить? Время покажет, а пока у него есть семья, есть работа, где он каждый день кому-то нужен. Вот даже Танечка Соловьёва лукавенько так смотрела на него сегодня и, как понял он, недвусмысленно намекала на что-то важное; и по всему не случайно неделю назад именно она стала посыльной к нему в кабинет для решения проблемы с законом. Ничего, приятная молодая женщина, вот только бы годков ему сбросить чуток. А дальше...

Но дальше мысль его на этом месте вдруг затупилась, потом её как бы заклинило совсем, – это как

сверло, которое шло и шло по намеченному пути, да неожиданно для человека напоролось на что-то твердокаменное и замерло: мол, стоп, мне дальше ходу нет, а ты теперь подумай, как нам дальше. А дальше Кондрашов ничего лучше придумать не мог: сел в машину и поехал осматривать поля, как это он любил делать с первого дня работы в должности председателя колхоза.

Весна была позади. Прошедшие обильные дожди сделали своё доброе дело не только на пастбищах: после прихлынувшего тепла на посевах тронулись в рост даже самые хрупкие ростки, потянулись к солнцу, обещая отблагодарить человека за его заботу. Он проехал вдоль Неручи, пересёк её по не широкому, но довольно прочному мосту – за все годы, сколько здесь он стоял, полые воды так и не смогли с ним справиться ни разу – и направил машину по полевой дороге от пойменных лугов. Перед ним был Аркашин бугор. Почему Аркашин? В далёкие-далёкие годы по воле местного помещика выросло здесь сельцо – выменял людей он за борзых собак. Домики в один рядок по-над речкой, за ними, вверх по отлогому склону, огородики, а ещё дальше, точнее, выше по склону, всё поле да поле. Поднимаешься по нему: ширь необъятная, горизонт за редкими посадками еле просматривается.

От этого сельца, может, с полверсты вниз по Неручи, ещё прилепком несколько домиков. Почему они так далеко от сельца? Да просто не хватило для всех переселенцев места на этом просторе, потому что сразу за крайним домом нового сельца, получившего

понятное название Борзёнки, начиналась низинка с близкими грунтовыми водами, к тому же в половодье её всегда заливало; и добрая барская душа выделила своим людям под жильё угодя немного дальше, где посуше. В крайнем доме этого прилепка из поколения в поколение уходили в жизнь Павличевы, люди работающие, во все времена нужные помещику, а потом и советской стране. Время распорядилось по-своему: по холмам да равнинам этого края прокатилась война; как и по Васильевке, по Борзёнкам протянулись тогда окопы передовой немецких войск. Когда загрохотало на северном фесе Орловско-Курской дуги, а сельцо как раз на нём и стояло, вдоль всей Неручи сделалось так горячо, что горела даже земля; и много ли надо было огня для сухих бревенчатых домиков под соломенными крышами – вспыхнули разом, одни головешки да печи остались. Уцелел, не сторел каким-то чудом домик Павличевых, самый крайний, и хозяин его, Аркадий Афанасич, по-деревенски Аркаша, уже через много лет после войны оставался на этом бугре единственным, кто до конца дней своих не захотел покидать корень предков. Бывало, посылают тракториста пахать или сеять: к Аркаше, на Аркашин бугор, говорят. Так и присохло это название к полю. Давно не стало здесь жилых строений, Аркаша умер, потомки его живут в Васильевке: колхоз построил для них дом и переселил, скорее всего, на радость – всё-таки ближе к цивилизации; а память о человеке живёт среди людей этого края.

Прошлой осенью на Аркашином бугре посеяли озимые, ровно полполя; другую половину оставили паровать до следующего года. С главным агрономом Кондрашову работалось легко; и когда решался вопрос: быть или не быть васьевскому колхозу? – Лылов без раздумий его поддержал. А ещё весной согласился сократить посевные площади зерновых и часть земель пустить в залежь и под пары. Такая участь была уготована и Аркашину бугру. «Я давно хотел тебе предложить, – признался тогда Лылов, – только решил ещё подождать: видел, что сам об этом думаешь». В сводках они свою вольность не показали, и уже по первому году из своей вольницы получили большую выгоду. А в залежь отправляли поля, удалённые от главных дорог, чтобы не бросались они, заросшие сорной травой, в глаза проезжающему мимо начальству. Но и на этих заброшенных до поры до времени полях велась работа: на них запускали косилки, и получалось неплохое сено для общественного скота, отсюда плыли навьюченные возы и на личные подворья.

Кондрашов ехал и радовался: отменные посевы! А рядом чёрный пар – его третий день перепахивает Похлебаев, которого все механизаторы в шутку зовут Похлёбкиным или Супом: Суп да Суп. Хороший тракторист, технику знает, но любит работать только на гусеничных тракторах... нет, пожалуй, правильной будет сказать – на тракторе: как посадили его лет десять назад на гусеничный ДТ-75, так и бессменно все эти годы на нём, зимой и летом. И всегда техника

у него на ходу, трактор чистенький: спать не ляжет, пока рабочую пыль не сотрёт. А пашет – залюбуешься: загонки, как стрела, ровные, плужок отрегулирует – не придерёшься. Когда приходит время пахать огороды – за ним очередь; но для Кондрашова это очередная головная боль. В первые дни работа идёт как надо, а потом Суп начинал портиться: в одном доме замагарычит, не утерпит; глядишь, возле другого трактор протарахтит на холостом ходу целый час, и, глядишь, пошло-поехало. И тогда Кондрашов его на прикол: хватит!

Вот она, его пахота!.. Но что это? Чёрный след пахоты через дорогу и по посеву озимой пшеницы, к берёзовой посадке. Кондрашов на газ и – туда: трактор стоял у берёзовой посадки, упершись в толстую берёзу, тракторист сидел в кабине, очевидно, спал.

– Пьянь... твою мать! – выругался Кондрашов. – Ты что наделал!

Похлебаев испуганно дёрнулся, сон его как рукой сняло.

– Ты видел, что натворил? Пьянь ты несчастная!

Чёрный след от плуга перечёркивал поле озимых поперёк. Бледный, с взлохмаченными рыжими волосами, механизатор тарашился то на свою работу, то на него и мямлил что-то непонятное.

– Что скажешь, скотина! – бушевал Кондрашов, хватая его за ворот пиджака и выбрасывая из трактора. – Да я тебя изуродую, как ты изуродовал это поле!

Наконец Похлебаев пришёл в себя:

– Иван Дмитрич, не пьяный я. Конечно, наделал делов, вези в милицию. Но не пьяный я, не пьяный.

– А за каким ты сюда заехал?

Он сам теперь увидел, что тракторист совсем трезвый, и отпустил воротник. Похлебаев одёрнул пиджак за полы, пригладил ладонью волосы.

– Натворил, конечно, – согласился он. – Так получилось. Я вчера допоздна пахал, ночь даже прихватил: мне надо было нынче ехать на базар с поросятами. Ну, думаю, поработаю, так как рано не вернусь: пока то да сё. Уехал из дома темно, так что ночь я, считай, не спал, а с базара сразу в трактор. Сначала ничего, пахалось, а потом чую: тяжело становится. Ну, думаю, ещё кружок, потом остановлюсь и передремну. И не заметил, как голова упала; и не проснулся, когда в берёзу чкнулся. Хорошо, что на малом газу ехал, и трактор заглох.

– Похвалился, – перебил его Кондрашов. – Ему хорошо, а что прикажешь нам с этим делать. Ты скажи спасибо Сталину, что посадили здесь лесополосу. Не будь её – уехал бы из своей области и до самого Курска пахал, если бы, конечно, хватило солярки. А он: «Хорошо, хорошо».

Похлебаев оттаял, словно ледышка, ощутившая приливы тепла, и пошёл осматривать трактор. Кондрашову ничего не оставалось делать, как садиться в машину. Далеко не отъехал – услышал надрывные выхлопы пускатча, всего какие-то две-три секунды – и рывкнул дизель; а когда через полминуты оглянулся назад, трактор с поднятым плугом уже мчался вслед за ним.

Все они работают на пределе, – прокомментировал это происшествие Лылов. – А поле выправлять теперь поздно, так что урожаем не доберём.

– Прощаем? – спросил Кондрашов.

– Пока нет, – покачал головой Лылов. – Наказание по-любому должно быть: большой ущерб. Когда отпустишь вожжи, сам знаешь, что бывает. Хотя они у нас особо не разбогатели.

– Ладно, собирай наутро собрание, всех механизаторов. А там дальше посмотрим, как он будет работать. Определимся по году.

## 10

Ровно неделя прошла с того злополучного дня, когда Кондрашов проехал по следам пастуха Еремеева до фермы и увидел его рядом с Натальей, у ворот телятника, но за это время так и не сделал ни одной попытки хоть как-то приблизиться к ней. По сути, он снова начал избегать её, как это уже было с ним после отцовских похорон; а душа бунтовала, просилась туда, на посёлок, где теперь почти в полном одиночестве стоял близкий для него дом. Наталья тогда не могла не заметить его машину и, конечно же, поняла: не просто так он развернулся. Но какое имеет значение это сегодня, если он усвоил для себя, что за его спиной совершено любимой женщиной предательство, а такое не прощается.

На восьмой день она сама пришла к нему в кабинет – без стука, взгляд настороженно-встревоженный: глаза

уже не расплѣскивали синь, словно какой-то злой человек взял да и взмутил в этих озѣрах воду, и они потеряли свою обычную прелесть. Тревога поселилась не только во взгляде: ни улыбки, ни привычного светозарного полыхания щѣк, а по всем этим милым противоположностям на её лице Кондрашов постоянно сходил с ума. Лицо её казалось тѣмным, и можно было думать, что оно потемнело от переживаний, которые преследовали её всю эту неделю; не могло же оно сделаться таким от недостатка света в кабинете, хотя день пасмурный был сам по себе, и, к тому же, окна притемняли кроны густых ёлок.

Наталья закрыла за собой дверь, но так и осталась стоять у порога, молча глядя на него. И Кондрашов так же пристально смотрел ей в глаза, ни один мускул не дрогнул на его лице. Молчание их длилось с полминуты; первой нарушила тишину она:

– Что ж ты со мной делаешь, а? – Голос у Натальи дрогнул, глаза повлажнели. – Мы же с тобой всё тогда ещё прояснили, а ты опять за своё, снова от меня.

– Не лукавь, – от его слов повеяло холодом. – Я всё знаю и даже не хочу об этом вести речь. Что пришла – хорошо. У меня цыгане просят продать отцовский дом. Я не хочу их селить в деревне, потому что народ этого не хочет. Ты в посѣлке осталась, считай, одна, удобств никаких – ни газа, ни водопровода, до магазина и до школы далеко; и давай-ка переходи в отцовский дом, пока его не растащили деревенские бродяги.

Наталья не знала, что ей делать, что говорить; она поняла одно: уйти не сможет. Если сейчас уйдѣт, то

навсегда, а этого она не хотела и никогда не захочет. Последние его слова она еле уловила. «Переселиться в отцовский дом, – крутилось у неё в голове. – А зачем он ей, если они живут, и дом, вроде, неплохой, тёплый».

– Что молчишь? Говорю, переселяйся в отцовский дом.

Она проглотила подступивший к горлу комок, достала из кармана платочек, прошлась им по глазам:

– Не буду.

– Почему?

– А где же мы будем встречаться?

– Нигде. Ты за моей спиной совершила предательство. Мне сказали, да я и сам видел, что ты с приبلудным шуры-муры разводишь.

– Неправда. Никогда этого не было и не будет.

– Весь колхоз знает, что вы встречаетесь на ферме. Ты хоть бы не водила его по нашим следам, где мы с тобой стояли. Пусть сажает тебя на лошадь и увозит – хоть в колхозный сад, хоть в поймы...

– Не так всё, – не дала договорить ему Наталья; и снова к глазам платок.

– Я же сам видел. Я ехал по его следам. Он каждый день из поймы к тебе, и не скрывает этого.

Наталья после этих его слов перестала водить платочком по глазам, резко вскинула голову.

– Дурак! – выпалила вдруг она; глаза вместе со слезами наполнились гневом. – Дурак, слушай меня, а не людей. Не слушаешь, не веришь – тогда на, вот твоё кольцо.

С этими словами она сорвала с пальца то самое золотое кольцо, которое не было надето ей в церкви, но чуть позднее всё равно украсило её пальчик на рубеже, среди полевого простора.

– И говорю ещё раз: я гоню его от фермы, чуть ли не матом крою, а он всё ездит. Мне никто не нужен, кроме тебя. Я как зашла сейчас к тебе, сразу увидела: чужая стала я для тебя; и надо бы развернуться и уйти, а не смогла. Если бы ушла, то навсегда, а я этого не хочу; и не могу: меня отсюда только на носилках можно вынести или волоком.

Он молчал, уставившись на стол: на нём поблёскивало кольцо; руки тоже на столе – от нервного напряжения они подрагивали, и, очевидно, чтобы скрыть это волнение, он начал перекидывать какие-то бумаги с одного места на другое. Она ждала, что он скажет. Кондрашову затянувшаяся эта пауза облегчения не приносила, наоборот, она его угнетала; и руки, нашедшие в тягостную минуту ненужную работу, начинали не слушаться. Наконец он решил:

– Я за неделю передумал много чего, всё вспомнил из нашей с тобой жизни, до мелочей; и если бы мне сейчас дали новую жизнь, я прожил бы её так же, не лукавя перед тобой и перед людьми не стыдясь. Но всю эту неделю я утверждался во мнении, точнее, факты убеждали, что ты скрывала от меня свою связь с Еремеевым; и что я могу поделаться, если эти мысли и сегодня во мне роют. Хуже нет предательства. Ну, перегорело в тебе, отлюбила, в общем, взяла своё – и

скажи, как сумеешь; ты объясни, и я пойму, но больше не буду плохо думать о тебе, чтобы не осталась в моей памяти ты в чёрном свете.

– Ваня, милый, – Наталья сделала два маленьких шага к столу, – ты скажи, что мне делать сейчас? Я тебе клянусь, что даже в думках своих засыпаю и встаю только с тобой. А что касается приبلудного: я всё хотела попросить, чтобы ты сам с ним разобрался. Не могу же я ему сказать, что я твоя. Отбиваюсь, как могу, но сил уже нет. Скажи ему, что я пожаловалась: мол, мешает работать.

За дверью кабинета послышались негромкие шаги, и она замолчала. Слез уже не было: они не просохли, просто по ним снова прошёлся платочек.

После её слов сердце у Кондрашова от перегруза сработало: как что-то надломилось в груди, но дышать стало легче; и он начинал понимать, что всё-таки был готов к такому повороту событий и всё ждал, ждал, когда это произойдёт, но, конечно, не по такому сценарию. «Наталья сняла с руки кольцо и вернула ему – это уже знак, – подумал он. – Почему же тогда не уходит, а стоит и ждёт ответа? Конечно, ей нужны хорошие слова, которые перечеркнули бы всё прежнее, что мешало их сближению. Но что он скажет ей, ведь она ждёт?»

Кондрашов вышел из-за стола, но подходить к ней не стал, а подошёл к окну; Наталья провожала его взглядом – в нём боль, мольба, ожидание.

– Тогда договоримся так, – и он поглядел на дверь – там кто-то стоял и слушал их разговор. – Вы переселяетесь,

транспорт я дам. Что пришла – правильно сделала. Что сказала – я усвоил, а дальше жизнь покажет. Но я тебя не бросал.

Дверь скрипнула и приоткрылась; лицо у Натальи вспыхнуло: да, чернота на её лице была не от недостатка света; этот мертвенно-бледный свет исходил изнутри, из её трепетного сердца, отзывающегося на любые неприятности.

– Спасибо, Иван Дмитрич, до свидания, – сказала она и направилась к порогу, на котором уже стоял Олег Борисыч.

– Когда надумаешь – скажи, я машину пришлю.

В последних его словах уже не было той суровости, с которой он её встретил, и Наталья поняла, что в сегодняшних отношениях между ними было много надуманного, построенного на бабьих разговорах и эмоциях, а это просто недопустимо для обоих.

Кондрашов поспешил спрятать кольцо в верхний ящик стола: Олег Борисыч был любопытным человеком, замечал каждую мелочь, не пропускал мимо ушей самую незначительную новость и всегда этим гордился; и, скорее всего, только поэтому никогда их не держал в себе, а нёс в народ. «Разные мы с тобой люди», – вспомнил Кондрашов Герасимыча; за Натальей едва закрылась дверь, учитель спросил:

– Что-то долго вы с ней говорили? Я ждал-ждал, потом отошёл; потом пришёл и думаю: дай загляну, может, уже ушла, пока я на минутку отлучался в бухгалтерию.

– Идут люди – кто за чем, нужда человека гонит: кому зерна, кому машину, кому сена, – он решил удовлетворить любопытство учителя общими фразами, но передумал. – Наталья вот приходила: отдаю им отцовский дом, пока не растащили. Просили продать цыгане, но не хочу приносить деревне неприятности: им только зацепиться – сразу табор сюда приведут.

– Я слышал, в одном колхозе, правда, давно уже, приехали вот так же, и живут; потом договорились бороны к посевной ремонтировать. Как они работали – не знаю, но когда пришла пора рассчитываться, инженер и говорит им: «Я вам объяснял, как надо их ремонтировать, и показывал, а вы по-своему сделали. Переделывайте, а за эту работу я вам начислять не буду». Они всем табором к председателю – Вислобоков, кажется, его фамилия. Он им тоже: платить не будем. Так они такой балаган устроили, даже руку ему сломали.

– Я помню. И вообще не хочу их привечать.

– Да, они не любят сидеть на одном месте, и работа у них одна – ходить и обманывать людей, приворовывать. Их в сталинские времена прижали крепко, а сейчас им воля вольная, – Олег Борисыч снова оседлал своего любимого конька. – Это наш народ такой – всегда в заботах, а цыгане беззаботные.

– Наш – это деревенский?

– Я о русском народе, – пояснил Олег Борисыч.

– Не скажу, – возразил Кондрашов. – У цыган тоже забот хватает, только они у них свои, цыганские. А беззаботных и среди русских теперь – пруд пруди.

- Но цыгане хуже всего приживаются возле русских.
- И возле русских по-разному. Цыгане везде цыгане.
- Их очень ненавидел Гитлер.
- Чего не знаю – того не знаю, – признался Кондрашов. – Гитлер не меньше, наверно, ненавидел и русских.
- Об этом много написано, я читал, читал, – с превосходством знающего человека сказал Олег Борисыч. – Всё верно, Иван Дмитрич: мы мало знаем, как жили наши предки рядом с другими народами. Хотя у всех народов люди по характеру разные.
- Олег Борисыч, эту особенность в людях всегда отмечал ныне покойный Герасимыч, Юрин. Бывало говорит, говорит с кем-нибудь о чём-либо, а фразу свою коронную всё равно пристроит. Не помнишь, как он говорил, а я запомнил: да, скажет, разные мы с тобой люди. А что за его словами стоит – думай: то ли он похвалил, то ли осудил, о ком идёт речь.
- Народ наш мудрый, – оживился Олег Борисыч. Было видно, что Кондрашов, сам того не сознавая, раскопал источник знаний. – Это настоящая кладёзь мудрости. Правда, чисто русского от наших далёких предков мало что осталось, растворился русский человек во времени.
- Это как? – не понял Кондрашов.
- Очень просто. Посмотри на современную деревню: как разнообразна наша речь! Здесь какие только диалекты не услышишь: и с Волги, и прибалтийский диалект, и Сибирью попахивает, то акают, то окают. Вот оно, Сеньково, – рядом; мы говорим: курица, яйцо, а

там вместо буквы «ц» выговаривают букву «с»: куриса, яйсо. Полное смешение племён и народов.

– Я думаю, не только русский язык страдает; и другие славянские народы тоже утрачивают какие-то ценные качества на своём генетическом поле, и, может, больше нашего: наш-то сильнее.

– Всё равно границы размываются, – распаялся Олег Борисыч. – Я учу детей русскому языку всю жизнь; и, скажу тебе, мои безобразники сегодня стали знать его намного хуже: почерк никудышный, орфография тоже никуда не годится. Иногда думаю, что учитель не доносит знания до своих учеников. А может, поглупела нация?

– А кто же летает в космос?

– Ну, тогда не нация, обобщать не буду, а деревня; да, поглупела, обнищала на умы. И учитель не виноват?

– Ты же сам, бывало, говорил, что нет плохих учеников, а есть плохие учителя.

– Времена меняются, – сокрушенно сказал учитель.

– Время меняет человека.

– Или человек время?

– Вся страна сидит перед телевизором, и каждый канал работает за тысячи учителей. Раньше, допустим, прочитал книгу ребёнок – и на всю жизнь она в его памяти, как в личном компьютере, а теперь они в руки их не берут. Смотрю как-то по весне: идут из школы с одними тетрадками под мышкой, в библиотеку ни один не зашел, все мимо.

– Наш народ, Иван Дмитрич, начали портить ещё татары. Ты посмотри, сколько татарских слов в нашем словаре, в названиях предметов и населённых пунктов, речек и ручьёв.

– Но ведь до татар у всех их, вероятно, названия русские были.

– Во всяком случае, я никакого документа не знаю, в котором бы говорилось, что такое-то русское поселение переименовано, – засмеялся Олег Борисыч. – Да они, милый мой, триста лет на нашей земле хозяйничали и много чего натворили. Приглядишься к людям, посмотри в глаза: у всех они разные, но карих, чёрных больше; и по цвету волос: русых и вообще со светлыми шевелюрами меньше, чем черноволосых. Татары в наших генах заложили прочный фундамент, вволю побесчинствовали с нашими бабами.

– Олег Борисыч, тут говоришь не то, – остановил его Кондрашов.

Учитель растерялся, услышав уверенный голос собеседника:

– А что не так?

– Ещё во время учёбы в институте я ехал в Курск, в электричке; и рядом со мной разговаривали два человека – в годах, один уже седоватый, видать, из учёного мира. Сколько ехали они – столько спорили. Вот один и сказал, как ты: мол, крови чисто славянской нету – растворили её татары с нашими бабами. А другой упёрся и не соглашается: ты, говорит, хочешь сказать, что на земле ничего русского не осталось? У тебя, говорит, ни

на грамм национальной гордости. Русские были, есть и будут, и татары не способны русскую кровь испортить. Что, говорит, такое русская кровь? А это представь, допустим, водопроводную трубу большого диаметра, а по ней течёт наша кровь; и пришли татары, ну и по капельке вливают в эту трубу свою кровь. Что, говорит, эта капля в нашем потоке. И я, Олег Борисыч, тот спор на всю жизнь запомнил, и с каждым годом утверждаюсь в правоте последнего: наша кровь по природе своей самая крепкая. А в наше время, добавлю от себя, агрессии на русскую кровь значительно больше, чем во время татаро-монгольского ига, да мы и сами ею как бы не дорожим.

– Иван Дмитрич, поспорю, – загорячился учитель, – там народ и тут народ, значит, и трубы бери одинаковые. И поток по татарской трубе шёл не меньше. И ещё: откуда ты взял, что наша кровь самая крепкая? Наоборот, и вот тебе пример из жизни. Я несколько лет назад побывал в Новосиле, и с друзьями решили отдохнуть на Неручи. Смотрю: идёт по берегу славянка – молодая, красивая; смотрю на неё – и смотреть хочется. А за ней, понимаешь, следом – негритёнок, ну лет пяти. « Это что, – говорю, – она замужем за негром? » « Какой, – говорят, – за негром ». « На стороне нашла чернокожего? » « Какой на стороне, – говорят, – если она в деревне безвыездно, и муж у неё тоже наш, деревенский. Это бабка её в молодости пошалаила с негром ». Вот тебе и русская кровь: говоришь, крепкая, а всё-таки не устояла.

– Я уверен, что молодка та совсем не славянка, и крови русской, может, ещё у бабки её не было ни грамма, – возразил Кондрашов.

– Можно рассуждать и так, – неожиданно быстро согласился Олег Борисыч. – А как будет правильно и кто это докажет? Пока эти вопросы для нас остаются, и, в то же время, возможно, – при этом он поднял указательный палец, как бы обращая внимание на его слова, – я повторяю: возможно, над ними умные головы уже думают, словом, работают. Но мы здесь, действительно, в смешении племён и народов.

Разговор на эту тему мог продолжаться ещё долго; и можно было им заглядывать друг другу в глаза, чтобы попытаться определить, сколько и какой у них осталось крови, но Кондрашов уже начал посматривать на часы, тем самым давая понять, что он ограничен во времени, и его ожидают очередные дела. Уловив паузу, он как бы подвёл итоги разговора:

– Мы, Олег Борисыч, со своей колокольни можем много рассуждать о смешении племён и народов, а в действительности мало чего знаем из этой области. Но всё-таки хорошо иметь свою точку зрения и её отстаивать.

– Да-да, – поддакнул учитель, а это приблизительно означало, что разговор их подошёл к концу.

– Ты зашёл-то по делу? – спросил он его.

– По делу, конечно, по делу, – встрепенулся Олег Борисыч. – Я сам не бездельник и бездельников не люблю.

– Тогда выкладывай.

Олег Борисыч хмыкнул, зачем-то оглядел его стол, потом пошарил взглядом по окнам – кроме одного горшка с цветами, там не на что было смотреть; и вздохнул:

– Ты помнишь, я к тебе чуть ли не каждый год заходил напомнить за сено для моей коровы?

– Помню, – кивнул головой Кондрашов. – Но сегодня ещё рано говорить о кормах: сенокос не начинали.

– Не начинали, но всё равно начнёте; и не тяните, потому что, по моим приметам, лето будет мокрое. Коси всё подряд, и чем раньше начнёшь, тем лучше будет. Была примета.

– По сенокосу?

– Да, народная; вот до первого июня у нас был Иван -долгий, за ним прокатился Фалалей-огуречник; и если два дня идёт дождь, то весь месяц будет сухой. Дождь пролил, пошли сухие дни, да и месяц народился погожий: вешай ведро на рог месяца – не упадёт, значит, быть суше. После Ивана Купалы придут обильные дожди, всё сено погниёт, так что до Ивановых дождей тебе, считай, что с месяц. Управляйся.

– Совет принимается, – шутливо сказал Кондрашов; и встал из-за стола, посчитав, что Олег Борисыч именно по этому поводу и приходил. Но тот его остановил:

– Я не договорил. Так вот, теперь нам корм не понадобится совсем: решили от коровы избавиться. Прими её в колхоз – она молочка хорошо даёт.

– Что так?

– Иван Дмитрич, возраст у нас уже не тот, чтобы держать скотину, а ведь она требует ухода. Почему? – спрашивает. А почему у тебя на дворе пусто? – и он как-то так хитровато приподнял голову, высоко поднял брови, открывая своё лицо, и уставился на него грустными глазами, ожидающими ответа.

– За ней ухаживать некому, – не задержался с ответом Кондрашов. – Я с утра до ночи не дома, и молоко не пью, перешёл на водку; Марусяка тоже не особо: банку принесут – стоит, стоит, пока не прокиснет.

– Так и у нас.

– Но ты же на пенсии, и время есть.

– Не думай, что человек вечен: возраст берёт своё, то есть силы забирает, здоровье, память; и наступает такой день, когда у него уже ничего не остаётся, – это значит, дальше человеку не на что жить, он истратил весь свой запас и бессилён с этим бороться; и тогда в глазах его меркнет свет.

– Глядя на тебя, Олег Борисыч, можно думать, что запаса твоего тебе хватит надолго.

– Думать никому не запрещается, – ответил учитель и замолчал, видимо, ожидая ответа на свой вопрос.

– Об этом можно не волноваться. – успокоил его Кондрашов. – Конечно, примем, обратишься к главному зоотехнику.

Олег Борисыч встал; в его фигуре Кондрашов уловил какие-то новые, незнакомые ему доселе приметы очередного периода жизни, которые в медицине

называют возрастными изменениями. Наверное, он знал о них и сам, и, подавая Кондрашову руку, с грустью признался:

– Всем жить хочется, а возраст говорит сам за себя. Спасибо, что понял меня.

И ушёл; привычно споткнувшись о порог, тихо всхлипнула за ним дверь – с такой же грустью, какая исходила от покинувшего кабинет человека. Кондрашов проводил его взглядом из окна – высокого и ещё довольно стройного, доживающего свой век в этой небольшой деревне на виду у всех. Хотя кто знает: может, в своей жизни он, как и Кондрашов, вот так же испытал чувство украденной любви, радовался счастью и страдал от ревности, а всё-таки сумел пройти своей дорогой, в обнимку со своей тайной, не доверив её никому.

Кондрашов вернулся к столу, выдвинул верхний ящик, куда спрятал Натальино кольцо; потом посмотрел на свой палец – на нём светилось точно такое. Он снял кольцо с пальца, положил его рядом с Натальиным и в большом раздумье ящик снова задвинул.

На другой день чёрно-белая корова Олега Борисыча будет ходить уже в колхозном стаде; ещё через три дня на заречных лугах, на многолетниках в полях откроется сенокос, и выстроятся вдоль полевых дорог скирды пахучего сена. А потом, как и обещал Олег Борисыч, на поля и поймы опустятся дожди.

## 11

В один из дней Кондрашов приехал домой раньше обычного: почувствовал непонятную усталость. С утра он исколесил много полевых дорог, дважды пришлось побывать в райцентре; в машине духота, он открывал косячок ветрового стекла передней дверцы, и по всему попал под сквознячок. Первым делом Кондрашов сбросил с себя пыльную одежду и освежился под душем, который легко соорудил на лето в саду: всего лишь поднял на столбы десятиведёрную ёмкость, которую утром наливали водой, а за день солнце нагревало её до приличной температуры.

– Иван, ужин на столе, – позвала его Маруся.

– Иду, – откликнулся он, а сам вышел к огороду.

Так он выходит уже много лет и смотрит через речку, в ту сторону, где доживает Натальин посёлок. Чередуются времена года; над поймами расстилаются дожди и делают своё дело морозы, светят закаты, как сейчас, но ничто не может заставить его не выйти и не посмотреть. И даже после того, как перебралась Наталья в отцовский дом, он всё так же, выкроив из своего ненормированного вечернего времени пару минут, скрывается за углом дома и замирает возле сетчатой изгороди, спасающей грядки от набегов домашней птицы. Так он погружается в прошлое, где были только он и Наталья и всё самое радостное и дорогое, – печалей у него в эти короткие минуты не было. Наталья теперь живёт в другой стороне;

и смотреть бы ему надо вдоль притихшей улицы, а он туда же, всё за речку да за речку. И если раньше он стоял здесь и курил, то теперь огонёк его сигареты в потёмках не светится, потому что он бросил курить, чему Наталья рада, а Маруська ещё больше.

Сколько же стрел выпускала Маруська в его сторону: мол, как отец, он – провонял весь табаком! А Кондрашов только посмеивался: подумаешь, там пару раз дымнул. И знает, что весь шум её – он для порядка. Точно так Маруська шумела на него за собаку: прилачился, мол; и как приезжает – сразу к собаке. Нет бы к бабе, а то к собаке – и гладит её, ласкает, и называет-то как ласково: Бибочек; и сразу в дом с ней. От самого табаком, от собаки псиной – какая это жизнь. Но, так склоняя, брала две чашки, наливала обоим – и ему, и Бибку; а потом, довольная, сидела и смотрела, как они справляются с едой, ожидая, наверно, когда её похвалят. Иван тоже поглядывал, как работает над чашкой его друг: поел – он посмотрит на жену и скажет: «Бибок поел и не умер, значит, вкусно приготовлено; молодец повар, постаралась, и можно теперь есть и мне». Если понюхает Бибок еду, покрутит носом и отвернётся от чашки – всё наоборот, слова в её честь другие: «Да, Бибок, плохи наши с тобой дела, совсем испортился наш повар, а может, и не хотел постараться. Но в любом случае это беда в масштабах государства».

Бибок давно умчался в дом, Иван только теперь за ним. Тепло и тихо, двери настежь: в летние вечера

они всегда держали их открытыми – впускали в дом прохладу и свежесть. На кухне по-тихому жужжал холодильник; небольшой телевизор всматривался в них голубым глазом, словно видел их впервые; и точно такой же – голубой, и с такими же картинками, смотрел на них из зеркала, но только с другой стороны.

– Как день прошёл? – спросила Маруся, когда он сел за стол.

Иван пожал плечами, а так он делал, когда по какой-то причине не мог определённо ответить на вопрос.

– Язык проглотил?

Ответил односложно:

– Ничего нового.

– Так уж и ничего? – и она присела рядом с ним. – Я вот была сегодня в магазине; говорят, как Наталья переселилась в отцовский дом, сразу ухажёра нашла – приبلудного Еремеева.

– И правильно делает, – спокойно отреагировал Иван на её новость. – Что ей всё одной да одной.

– А говорят, ты с ней до этого катался.

– Значит, про меня теперь не говорят?

– Говорят. Но говорят, что ты и новую ухажёрку нашёл, Таньку Соловьёву.

– Пусть говорят, пока не надоест.

– Говорят, в кабинет к тебе на свидание ходят.

– Ко мне много людей ходят, и все на свидание, только у них вопросы разные ко мне. А Соловьиха... да, приходила, и глазки строит, когда у них бываю. Маруся, я для неё, наверно, староват уже.

– Я тоже так думаю, хотя...

Она замолчала, как бы подыскивая нужные слова; а он не стал их дожидаться:

– И что ещё ты, кроме этих сплетен, уловила?

– Что слышала, то и сказала, – обиделась Маруся. – Что, я только тем и занимаюсь, что по деревне хожу? Ходила бы на работу – знала бы больше. Я, Вань, в отпуске, как в тюрьме, и пойти особо не к кому. Наталья вот заходила с Алёнкой, кстати, тебе привет бо-о-о-льшой крестница передавала.

После того дня, когда Наталья приходила к нему в кабинет, они встречались ещё, но накоротке: она просила машину перевозить вещи. Говорили недолго, голоса их звучали виновато, а значит, долю вины каждый принимал и на себя и как бы предлагал тем самым мировое соглашение; при этом между ними уже не было ни слёз, ни взаимных упрёков и оправданий.

– Иди в мастерскую, там стоит Бровкин, – сказал он ей тогда.

Бровкиным в колхозе прозвали за лихую езду Ивана Горохова – после того, как в клубе показали фильм про Ивана Бровкина.

– А поедет?

– Скажи, что я велел.

– Вань, спасибо тебе за приبلудного. Как ты так с ним?

– Это не я, а Карпушкин. Я ему сказал, что на пастуха пожаловались: бросает стадо, а сам на ферме всё

высматривает что-то. Он туда и зимой ходил якобы, и предполагают, что пожар – его рук дело.

– Теперь не заявляется, – сказала Наталья, и по лицу её впервые пробежала лёгкая улыбка.

С тех пор они не виделись.

– Ко мне приходила или просто так? – спросил он Маруську.

– Ничего не сказала, ничего не просила.

Иван понял, что Наталья ищет его, что она отвергла напрочь безосновательные вымыслы о каких-либо её связях с Еремеевым и по-прежнему верна ему.

А на другой день после домашнего разговора с Маруськой он сам заехал к ней на ферму. Увидел её, – не выходя из машины, посигналил и, когда она подошла, с прежней виноватостью поздоровался и сказал:

– Вчера Маруська принесла с деревни новость, что ты с Еремеевым скрутилась. А меня уже свели с Танечкой Соловьёвой – приходила ко мне в кабинет. Оказывается, её доярки послали.

– Я знаю, – сказала Наталья.

– Пусть говорят, если так получается. За нас много чего говорили за эти годы, и ещё будут говорить – не страшно. Ты вчера что приходила?

– На тебя посмотреть. Думала, может, ты дома.

– Я каждый день до ночи, – сказал он. – Но я тоже об этом думал. А вообще, нам надо Алёнку готовить к школе.

Они немного помолчали. К взаимному сожалению, виноватость в них ещё жила и по-прежнему мешала

переступить ту самую грань, которая чуть ли не развела их в разные стороны. Наталья первой нарушила молчание; слова её прозвучали довольно неожиданно, как бы шутливо, но смотрела на него она вполне серьёзно:

– Вань, возьми меня снова замуж, и верни кольцо.

У Кондрашова на лице нечто похожее на улыбку:

– Значит, мне надо начинать всё сначала: за невестой сперва ухаживают. Ты хорошо знаешь, как это делается?

– Да, – сказала она.

– Значит, так и будет.

И он уехал. Как она посчитала, её любимый не сказал ей ничего конкретного, но потом пришла к другому выводу: сказал! Сказал, что будет думать, а это уже обещание.

Но обстоятельства сложились совсем не так, как предполагал Кондрашов; и не случайно говорят в народе, что человек предполагает, а судьба располагает. Утром на планёрке Лылов доложил: вчера, вместо того, чтобы заниматься ремонтом комбайнов, механизаторы пропьянствовали.

– Главный инженер уехал, а они, Иван Дмитрич, вразнос. Мы готовим склады, выметаем, дезинфицируем, и гляжу: они то и дело по улице, к Гуме, значит.

Гумой в деревне прозвали Матвея Соболева, который однажды появился на народе в больших истрёпанных валенках; на каждом с внешней их стороны, чуть повыше

галош, сидело по кожаной заплатке. До этого в них Матвея ни разу не видели. «Матвей, где ты их раздобыл?» – спросил его кто-то из мужиков; и тот ничего не мог придумать кроме, как отшутиться: «В ГУМе», – ответил он любопытному. Все, кто оказался свидетелем этого разговора, попадали со смеху: Матвей, если он имел в виду самый главный московский магазин, за всю свою жизнь в Москве ни разу не был; а кто-то тут же вспомнил, что так он называет местный магазин. «Гы-гы-гы! – надрывались мужики. – Давно купил?» – «Недавно». И снова хохот – ещё заразительней, от души.

А бегали к Гуме – за выпивкой: у него всегда можно было разжиться самогоночки, и не какой-нибудь, а наикрепчайшей, да настоящей на разных травах. Рассказывали, что занимался этим делом он с послевоенных лет. Однажды участковый его предупредил: « Найду самогонку – всю твою посуду самогонную расстреляю». «Ладно, – согласился Матвей, – находи». Долго охотился участковый за ним – не удавалось захватить врасплох, но однажды видит: идёт Матвей через дорогу, из сарая к дому, а в руках какая-то посуда, похожая на маленькую канистрочку. Заметил его и Матвей – и бегом к дому; участковый за ним – в пяти шагах. Считаю, перед его носом тот захлопнул дверь. Участковый через порог: Гума стоит посреди комнаты, чешет затылок и вопросительно так смотрит на него. «Попался, Матвей», – говорит участковый. «А в чём дело?» – это уже Матвей ему. «Как в чём,

самогонку нёс?». – «Ничего не нёс». – «Я видел». – «Видел – тогда ищи».

Участковый обшарил все углы и кровати, в общем, проверил везде, где только можно было. Вконец упарившись, раздосадованный, он плюхнулся на стул и говорит ему: «Ладно, твоя взяла. Совсем отстану от тебя, только скажи: где? Ведь от меня ещё никто не мог так прятать».

Матвей сперва недоверчиво покосился на него, но всё-таки рискнул: как же, обещал отстать; и, так же стоя посреди комнаты, ткнул пальцем в сторону двери: «Вон она». Над дверью, на гвозде, висело большое решето, и когда Матвей перескочил через порог, ему ничего не оставалось делать, как за те считанные секунды, отделяющие его от участкового, успеть засунуть свою посудину под решето. Участковый слово сдержал, и даже распил с Матвеем его настоящей, а Матвеев авторитет среди односельчан сразу вырос.

И вот теперь над Матвеем, получившим подпольную кличку Гума, тучи могли сгуститься.

Кто-то из механизаторов решил отшутиться:

– Мы же, Иван Дмитрич, не во вред производству: инженер поехал искать запчасти, нам делать нечего, а тут повод: день рождения у человека.

– Кто же этот счастливец?

– Шеварькин.

– У него с начала года уже третий день рождения; и выходит, что у вас в году одни праздники будут, если

каждый по столько раз появится на свет. Ещё раз надумаете устроить это в рабочее время – останетесь совсем без зарплаты, – пригрозил Кондрашов; но наказывать он никого не стал.

Оказалось, что главный инженер проездил целый день практически впустую: привёз всего два подшипника и несколько ремней; и Кондрашов взял у него список запчастей, в которых была нужда, попросил кассира отсчитать ему предполагаемую сумму денег и уехал в Курск. Там он побывал буквально во всех магазинах, торгующих запчастями для сельскохозяйственной техники и, в общем-то, остался доволен, потому что из его списка почти всё теперь лежало в машине.

На обратном пути Кондрашов надумал проведать друга, Андрея Дёмина, с которым не виделся с того памятного дня, когда они вместе с Натальей приезжали в церковь. Крюк сделал небольшой: как стало модно говорить, офис его находился километрах в пяти от трассы. После дружеских объятий и обмена короткими и самыми важными новостями Андрей пригласил его пообедать. Сидели в отдельной комнатухе бывшей колхозной столовой; на столе две бутылки коньяка, овощные салаты. С небольшими промежутками времени молодая девчушка, – как понял Кондрашов, единственная работница этого заведения, – словно птичка, неслышно впархивала к ним с подносом; и на столе вместо пустых тарелок появлялись другие: то с варёной говядиной и котлетами, то ещё с какой-то

зажаркой, и всё горяченькое, свеженькое, что само по себе возбуждало аппетит, хотя они всего этого уже употребили довольно много.

– Это теперь моя собственность, – широко улыбаясь, самодовольно рассказывал о себе Андрей. – Я сразу зачуял, что Советскую власть в пух-прах разнесут, что основой будущей жизни станет частная собственность. Пока все гадали, как жить дальше, я из своего колхоза сделал общество с ограниченной ответственностью – не один, конечно, а с главным бухгалтером. Рисковал, конечно, сильно; и если что-то могло не пойти – остался бы я без штанов и сел в тюрьму. Но повёл дело так, что в самом начале для меня сложилось всё благополучно. Теперь вся земля, считай, моя личная: какую выкупил, какую взял в аренду на сорок девять лет.

– Почему на сорок девять, а не на десять, двадцать или, допустим, не на сорок? – спросил его Кондрашов.

– Для меня как арендатора на малый срок невыгодно. Допустим, приведу землю в порядок, из года в год я буду вкладывать в неё средства для повышения плодородия, и вдруг, когда она начнёт давать отдачу, у меня её владелец заберёт. И ты считаешь, это будет правильно?

– Он хозяин земли, и его право, как распоряжаться ею. Почему он так поступает? Ты занизил арендную плату.

– Он договор подписал? Подписал. Тогда какие вопросы. И всё-таки я это предусмотрел; и людей не

обижаю, как не обижал своих крестьян помещик, а они, кстати, мои работники. Но я им плачу, сколько захочу. Я хозяин, понимаешь? Не нравятся кому мои условия – ищи, где лучше. А куда он пойдёт? Я тут один такой, кто им даёт работу и кормит их. Уходили – и сразу в Москву, она орловскими и курскими вся забита. Да и мне сейчас много работников не надо: в колхозе было триста пятьдесят, а у меня теперь всего тридцать.

Кондрашову такой взгляд на происходящее в стране совсем не по душе, и он стал морщиться, потом уловил короткую паузу, чтобы, не обидев друга, с ним поспорить.

– Постой, Андрей, постой. Ты вот запросто решил судьбу коллективного хозяйства, и теперь всё твоё. А не было ли у тебя таких, кто, как и ты, хотел бы на этой же земле организовать своё дело и работать, допустим, только своей семьёй, без наёмных работников?

– Были, но я всем шею посвернул, так что им сразу расхотелось иметь землю.

– Ты знаешь, а я колхоз сохранил – с трудностями, но удалось. И скажу тебе: это не Советская власть, как сегодня некоторые ярые антисоветчики говорят, не коммунаки придумали колхозы. Это сразу после отмены крепостного права в России двести деревень на своих землях работали по принципу коллективных хозяйств. Меж на полях не было, каждому находилась работа: например, хромой сидел

и считал, сколько снопов привезли с поля; мужик с одной рукой водил лошадь по кругу, то есть каждый был занят. А если пахали и сеяли сообща, как при колхозной жизни, то и убирали урожай сообща, а делили его по затраченному труду. Как обсчитывали – сразу скажу: не знаю.

– Откуда начерпал? – спросил Дёмин.

– Из очерков столетней давности. Кто автор? По-моему, Успенский.

– Счастливый ты человек, если находишь время читать, – сказал Дёмин. – Я уже забыл, когда держал в руках книгу. Да и ребята мои выросли без книг. Они всё больше телевизор и компьютер, да поболтаться с друзьями. Купил им по машине, не дорогие пока; как женятся, тогда покруче можно.

– И к чему ты их готовишь?

– Я свою голову над этим ломать не хочу, это их дело. Но пока ни к какому делу интереса у них нет. В армию не хотят идти. Поступили в университет, я их уговорил в сельхоз – по моей профессии, думал, пойдут, но старший учёбу забросил, другой, вижу, тянет.

Дёмин разлил по рюмкам остававшийся во второй бутылке коньяк, поднял свою и продолжил:

– Совершил ты, Ваня, друг мой сердечный, сегодня геройский поступок, что заехал ко мне. Как я понял, ты не смог сбить капитал для себя, не говорю уже о детях. Зарплату себе делаешь неважную, своего, личного транспорта у тебя нет. Я пашу без выходных, довериться некому. Бросай ты свой колхоз и давай ко мне: вдвоём

с тобой мы здесь горы свернём. Через год ты станешь состоятельным человеком; глядишь, по доброте своей, как другу, отпишу тебе землицы – попробуешь самостоятельно работать. Ты не думай, у меня специалисты есть, лихие ребята: надо что сделать – костыми лягут, а справятся по-любому, вплоть до допинга. Вот на сенокосе: поставил ящик водки – это, говорю, премия. Быстро управитесь – ещё ящик. Но во время работы не вздумайте: по ящику с каждого возьму. Особо лихой заместитель у меня, с ним даже страшно. Что додумался в прошлом году: у соседа моего за леском, как бы в стороне от его земель, было посеяно гектаров тридцать сортового ячменя. Ох и хороши посевы были! – Дёмин поцокал языком, покрутил головой, тем самым показывая, насколько они были хороши. – Колос крупён что! Приглядел мой Семён этот участок и в потёмках загнал туда наши комбайны. Они в момент смолотили, шумнули – и всё, так что никто ничего не заметил. Только дня через три сосед поднял тревогу: украли урожай! Милиция заметалась, а времени-то прошло сколько; к тому же хитрец мой каждому комбайнеру по ящику водки поставил и зерна пообещал, чтобы язык за зубами держали.

– Так и не нашли? – удивился Кондрашов.

– Они и не искали. Приехал начальник милиции ко мне: твоя работа, спрашивает; а я пожимаю плечами, мол, первый раз слышу такое. А как проверишь – бухгалтерии никакой. Дело закрыли, а соседу сказали: не обедняешь.

– Я бы сразу этого Сеньку рассчитал, – сказал Кондрашов.

– А мне его зерно и не нужно было. Видно, Сеньке захотелось почудить. А мне уже ничего, Иван Дмитрич, не надо: деньги есть, недвижимость в городе есть – и на себя, и на детей. Ещё вот одно доброе дело сделаю: ту самую церковь, где мы венчались, приведу в божеский вид. Жалко батюшку – добрейшая душа, таких бог любит. Кстати, я тебя провожу; наши гаишники орловские машины не пропустят, обязательно остановят: от тебя запашок, а со мной они никого не трогают; да и заедем к тому батюшке, я после твоего венчания часто у него бываю.

Он заглянул в стоящий в углу небольшой холодильник, достал ещё такую же бутылку коньяка, и они пошли к машинам. Уже через полчаса друзья входили в церковь; и Кондрашов, оказавшись в знакомом ему пространстве, но почти забытом в деталях, сразу почувствовал дыхание того времени; и ему показалось, что рядом с ним стоит его Наталья – он слышит её дыхание, чувствует тепло руки... Вот оно, его сегодняшнее счастье! Он испытывает то же самое волнение, те же душевные переживания, какие испытал он здесь в прошедшем времени, и они остаются для него самыми дорогими.

Кондрашов оглянулся по сторонам: со стен – и слева, и справа – с пристальным вниманием смотрели на него лики святых: то по-отечески доброжелательные, с мягким, ласкающим взглядом, то, как ему казалось, с

какой-то излишней суровостью, заставляющей думать о непогрешимости человеческой души.

Отца Владимира на месте не оказалось, как им пояснили, он с матушкой уехал на похороны, а когда отслужит молебен и возвратится – одному Богу известно, потому что по каким-то делам им надо было ещё в Курск.

– Домой всегда успеешь, – на правах хозяина угонял его Дёмин. – Мы сейчас заедем ещё в одно место – там хорошие друзья мои, познакомлю.

Дёмин был неистощим в своих попытках повстречаться с друзьями, проведать то одного, то другого; и когда Кондрашов говорил, что хозяйство им брошено, что уже давно его там ожидают с запчастями, он начинал сердито выговаривать:

– У тебя там не дети малые, свои обязанности они должны усвоить с первого дня пребывания в должности. А ты за них работаешь, и все к этому привыкли. Отучай.

Видя бесполезность своих усилий, он таскался за Дёминым по его знакомым, по всем, как он говорил, значным местам, где встречали и провожали так же весело и радушно. Компания раз от разу расширялась, и можно было смело утверждать, что никто особо не хмелел: пили не помногу и хорошо закусывали. А время не стояло на месте; уже в полночь Кондрашов проявил твёрдость:

– Андрей, я – всё. Надо ехать.

– Тогда ладно, – и он обнял Кондрашова. – Рад, что повстречался с тобой. Молодец, что привёз праздник.

И друзья мои довольны тобой. Да, – спохватился вдруг Дёмин, – насчёт моего предложения подумай, но особо не затягивай.

– Нет, милый друг, наверно, уже поздно менять место жительства: корни глубоко пустил.

Говоря так, Кондрашов, конечно, кривил душой. Корни корнями, но, во-первых, не мог он оставить Наталью с Алёнкой одних. И не менее важное: ему не понравилась атмосфера, которую создал вокруг себя Дёмин. Душа бунтовала против непорядочного отношения к людям; что-то хищное, нечеловеческое витало вокруг Андрея, и, по его рассказам, такими же хищниками были в его вотчине подобранные им опрчники.

– Хорошей тебе дороги домой. И удачи в делах, – напутствовал его Дёмин.

И они снова обнялись.

Ночь стояла тихая и тёплая. За Поньями Кондрашов свернул на полевую дорогу. С высоты холмов, над которыми стояло усыпанное звёздами небо, просматривались далёкие огни; ещё дальше несильным заревом был помечен скрытый от глаз Малоархангельск, чуть левее и дальше – Глазуновка; и всё это было привычно глазу, как бывает привычен для человека родной дом со всеми атрибутами, которые сопутствуют ему с детства. Ехал не торопясь, прокручивая в памяти события прошедшего дня; с лёгким сожалением думал, что с запчастями непростительно запоздал, и за время, проведённое с Андреем, он много бы полезного ещё сделал.

Уже на своей земле ему навстречу засветили два огня, настолько яркие, что Кондрашов прищурился и снизил скорость. «Две фары, и высоко – это трактор Т-150, – угадал он. – Постой, постой, это кто же здесь должен пахать», – вспоминал он, но память не срабатывала. Огни приближались стремительно, и в голове уже другие мысли, тревожные. Кондрашов дорогу уступает, а огни всё прямо, на него и на него.

Но нет, встречная полоса света ушла в сторону от дороги, за ней по обочине трактор; он с рёвом уже проходил мимо машины, как вдруг снова резко пошёл к дороге – его направила туда задняя ведущая пара колёс. Одновременно длинный хвост навесного семикорпусного плуга выбросило над дорогой, и он, как хлыстом, ударил по капоту машины. Кондрашов успел только увидеть в свете фар отшлифованные до блеска корпуса, услышать скрежет железа по железу и звон разбитого лобового стекла; а дальше – темнота.

Кондрашов пришёл в сознание уже при свете дня. Открыл глаза: по стене разгуливало солнце, слышно было, как за окнами ворковали голуби, щебетали ласточки, где-то недалеко разговаривали люди. И тут же над собой увидел родные лица – заплаканные, тревожно-радостные: Маруська, Наталья и Алёнка! Они ещё ничего не успели сказать, а Кондрашов уже всё понял и закрыл глаза: из них тоже потекли слёзы.

\* \* \*

И снова, дорогой читатель, мы расстаёмся с нашими героями; надолго, нет ли, или навсегда – сказать не можем, потому что не знаем, как сложится дальнейшая их жизнь. Но это будет уже другая жизнь, другая история любви.

1 марта 2013 г. – 1 марта 2014 г.

*От Москвы до самых  
до окраин:  
народ и власть*

ОЧЕРКИ



\* \* \*

От истока до Шеншина  
Три версты мелководной речки.  
Жили предки мои  
Самой маленькой горсткой пшена,  
Малиновским стаканом гречки.

Замеряя их море семейных забот,  
Тыщу раз мне придётся  
сбиваться со счёта.

Мы живём,  
сколько нам позволяет  
Госдумовский МРОТ,  
Но и тот почему-то не лезет в наш рот,  
Даже если и есть нам охота.

Разве был кто к народу отечески щедр?  
Слыша рык европейский,  
теперь понимаем:

Меньше нас на земле,  
Больше газа и нефти качаем из недр,  
А живём: не живём – выживаем.

Это значит: всё та же нам горстка пшена  
И стакан малиновский гречки.  
Будем живы и тем  
на усадьбах пустых Шеншина,  
Зато вволю напьёмся из речки.



## ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО ПОЖНЁШЬ

### 1. В траве забвения

**В**ерховье Неручи и Оки – искони русские земли серединной России. По их истокам селились славяне-предки, чтобы охранять русское государство. Они не только несли сторожевую службу, но и обживали этот благодатный край: строили дома, рожали детей, которые продолжали дело отцов и были достойными сынами своего Отечества. А дальше, в южную сторону, простиралось « дикое поле», откуда постоянно приходили с мечом и пожаром. За все века много врагов побывало на этой земле, не одно нашествие пережили люди, но кто с мечом сюда приходил, тот неизменно здесь находил смерть.

Сегодня село Тагино считается самым большим в Глазуновском районе, а несколько веков назад оно было одним из самых крупных населённых пунктов Орловского уезда и вместе с селом Луковец соседнего Ливенского уезда они были единственными сёлами в Орловской и Елецкой провинциях, нанесёнными на карты Российского государства первой половины XVIII века. И ещё пишет в своей книге «Орёл изначальный» Владимир Неделин, что обширные земельные владения в верховьях Оки перешли во владение рода Пушкиных. Первое упоминание о первом владельце села Тагино и других деревень Миките Остафьевиче

Пушкине содержится в Писцовой книге Мценского уезда 1619–1621 гг. Расположенные вдали от больших городов, они опустошались при набегах татар, и для защиты людей и своего имущества усилиями владельца села и его крестьян в Тагино был возведён острожек – крепость, ставшая укрытием для всей округи. Тагинский острожек находился на высоком холме, который с трёх сторон омывала Ока и который слева от дороги и сегодня видит каждый подъезжающий к селу Тагино. Острожек окружала деревянная стена в 142 сажени, шириной и высотой по две сажени.

В начале сентября 1644 года острожек выдержал двухдневный приступ 20-тысячного войска татар, которые после этого ушли.

В истории приокского края много героических страниц. Последним было нашествие немецко-фашистских захватчиков. И как память о тех событиях Великой Отечественной войны стоят на высотах, являющихся свидетелями ожесточённых боёв на Орловско-Курской дуге в июльские дни 1943 года, величественные обелиски с именами погибших при освобождении глазуновской земли; и памятники чуть поскромнее – в населённых пунктах, в память о погибших односельчанах на дальних и ближних рубежах, где прокатился огненный девятый вал. И каждый год на 9 Мая к их подножию возлагаются живые цветы и венки. Уже не одно поколение приходит к ним и 5 июля, когда в этот теперь уже далёкий день вздыбилась от взрывов земля на северном фесе Орловско-Курской дуги и за первые

двое суток непрерывных боёв, сдерживая атаки захватчиков, только одна 81 стрелковая дивизия потеряла 2518 солдат и офицеров.

Тагинская земля помечена особой меткой и в истории Великой Отечественной. Там, где сражались с врагами земли русской крестьяне предков поэта Пушкина, у того самого холма, на котором много веков назад стоял острожек с башнями, двумя пушками железными «мерою по аршину с четвертью» с 83 ядрами и двумя пудами ружейного пороха», 5 июля 1943 года советские разведчики взяли в плен немецкого сапёра, рассказавшего о часе начала наступления врага на этом участке фронта после почти полугодовой подготовки к нему. Счёт шёл уже на минуты; и шквальный огонь из всех орудий расстроил планы фашистского наступления, нанёс врагу большой урон, что и предопределило победу в начавшемся гигантском сражении на Орловско-Курской дуге.

И увековечить бы все эти события, сделать памятными места, чтобы все желающие, в том числе и гости, могли прикоснуться к истории Русского государства на глазуновской земле. Но что-то нам мешает. Справедливости ради надо сказать, что попытки в этом направлении всё-таки делались: в середине 90-х годов прошлого века по инициативе первого постсоветского главы районной администрации Николая Торубарова изготовили из щебёночно-цементной смеси памятный знак и установили его на самой вершине холма. Увы, время разрушило это знаковое сооружение, да и спроси

у любого жителя района – никто практически не скажет, что он там был установлен.

Когда я уже подготовил к печати этот очерк, в районе произошло ещё такое же событие: была установлена на склоне этого знаменитого древнего холма памятная плита, напоминающая о событиях 5 июля 1943 года; и также всё было сделано по-тихому, словно бы те, кто стал его инициатором, или сильно спешили, или просто не заинтересованы были афишировать о проводимом мероприятии на местном уровне. Хотя прессу всё-таки пригласили.

А на душе с каждым годом всё меньше покоя. С тревогой смотрю на людей, вступивших в двадцать первый век. Семьдесят лет от Великой Победы, двадцать лет, как не стало страны, сумевшей победить фашизм; а в нашей новой стране, да и не только в России, – на всём постсоветском пространстве всё громче слышны голоса, очерняющие великий подвиг советского народа; или его просто замалчивают. Да и в делах и поступках людей, встречающихся на моём жизненном пути, в той или иной мере это присутствует. И для меня не столь важно, осознанно ли так поступает человек или делает он это по своему недомыслию – здесь уже надо разбираться; а невооружённым глазом просматриваются две причины: природный недостаток и неправильное воспитание. Но в любом случае проливавшие кровь за наши святые рубежи заслуживают доброй памяти на века!

Чтобы не быть голословным, приведу такой пример. За освобождение маленького Глазуновского района, а

это был северный фас Орловско-Курской дуги, погибли несколько тысяч солдат и офицеров только 81-й и 148-й стрелковых дивизий. Скоро будет полвека, как подвиг их увековечен на этой земле памятниками и обелисками, имена погибших высечены на плитах. И не укладывается в голову: несколько лет назад на обелиске, что стоит недалеко от Архангельского, схема боевых действий приведена в негодность, то есть для кого-то плита с именами погибших и схема боевых действий послужили мишенью.

Стрелок, ты целился в память; ты убивал память о людях, отдавших жизнь за тебя и твоих детей и внуков. Их уже однажды враги-чужеземцы убили, но они жили среди нас, а ты их снова!

Ещё раньше расстреляли дуб Героя Советского Союза Ивана Борисюка, что стоит на краю леса у Озёрок. Этой деревни в 43-м практически не стало, фашисты стёрли её с лица земли, как это делается сейчас на юго-востоке «Украины милой». Но она возродилась из пепла, наполнилась голосами людей, и ещё полвека в ней кипела жизнь. А потом недруги всё равно сделали своё чёрное дело: кроме Озёрок, в этом срединном краю России в результате антисоветских, антикоммунистических устремлений, а в конечном итоге – реставрации капитализма были убиты сотни деревень, они сгорели без дыма и пепла. Не злодеяние ли это?

Деревни не стало, а дуб стоит – как свидетель тех событий лета 1943-его, высокий, кряжистый. На нём две металлические таблички. На той, что выше, читаю:

«Дуб Героя Советского Союза Ивана Борисюка»; и ниже: « Остановись, этому богатырю поклонись, он тоже принял бой когда-то во славу русского солдата, прикрыв собою, как бронёю, орудийный расчёт да ещё десятка два солдат». И подпись: «старший сержант Мокроусов». На табличках следы от ружейных выстрелов: по всему картечь была крупная.

В один из тех далёких дней под дубом выбрали себе позицию артиллеристы, которыми командовал Иван Борисюк: мимо леса через поля фашистским танкам была прямая дорога на Поньри и дальше – на Курск. Восемь танков подбили тогда младший лейтенант Иван Борисюк и его боевые товарищи, но не прогнулись. А дуб защищал их от пуль и осколков своим молодым крепким телом и развесистой кроной.

Мокроусов пришёл к дубу через много лет после этих событий; Иван Борисюк не пришёл: погиб на польской земле. Не вернулись домой многие, а кто вернулся – строил мирную жизнь в таких же неимоверно трудных условиях и удостоился последних почестей после войны. Сохранить бы о них добрую память, чтобы через века потомки знали, кто они, герои Великой Отечественной и Второй мировой: ведь была и Первая, и враг был тот же; чтобы и на их малой родине гордились люди своими земляками, не посрамившими земли русской. А у нас Герои принимают вторую смерть.

Есть в Орле издательство «3-е июля», которое возглавляет инициатор многих добрых дел, председатель

Союза журналистов Орловской области Геннадий Майоров. Это патриот, настоящий подвижник, много делающий для увековечивания памяти героев. Одна из его инициатив – проект «ОРЛОВСКИЙ КРАЙ: ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ», который включал в себя выпуск буклета с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, уроженцев Орловской области. Буклет вышел в свет, но – увы! – в этом юбилейном издании, приуроченном к 65-летию Великой Победы, Глазуновский район не был представлен.

Глазуновцы более полувека после войны, если можно так выразиться, были обижены: все соседние районы считались родиной Героев Советского Союза, а среди глазуновцев ни одного ветерана войны с такой наградой. Через полвека от войны разобрались: 28 марта 1917 года в селе Подоляны Орловского уезда родился Иван Григорьевич Похлебаев, будущий отважный лётчик, Герой Советского Союза, за годы войны совершивший 187 боевых вылетов и сбивший лично 21 вражеский самолёт. Подоляны – это Подолянь, которая с 1934 года в границах Глазуновского района! Но наш земляк в этом красочно оформленном юбилейном издании не представлен, и среди Героев Орловской области фамилии Похлебаева нет.

Но память Героя-земляка в Глазуновке увековечена! Большое спасибо надо сказать исполнительному директору местного завода ООО «Итон-3» Виктору Ивановичу Сорочёнкову, хозяевам этого общества, которые сделали доброе дело: выделили средства на

памятник; и он стоит теперь в скверике, что напротив детской школы искусств.

– Буклет издавался на спонсорские вложения, мы обращались к тогдашнему главе районной администрации А. Сизову, – прояснил ситуацию Геннадий Майоров. – Этот проект поддержала областная администрация, было письмо за подписью зам. Губернатора области об оказании финансовой поддержки; и каждый район стал участником проекта, кроме Глазуновского, конечно, потому что с Сизовым разговора не получилось.

Есть и такие люди в сегодняшней российской действительности, выросшие из советской системы, но так и не сумевшие стать либо её людьми, либо патриотами своей малой родины, что ещё хуже, потому что без этого человек не способен приносить пользу большой Родине. Исходя из своего общения с Сизовым, могу сказать, что такое для него не случайность: болезненно относился человек к любому изданию, если в нём не упоминалась его фамилия, да ещё с фотографией. Думаю, только поэтому он отказал в финансировании ещё двух книг: книгу Н. Юсуповой-Трубецкой «Глазуновский район: братские и одиночные захоронения», профинансировал глава Малоархангельской районной администрации П. В. Заложных; а книгу о Глазуновском районе «У Истока Оки», которую подготовил в соавторстве с Ильёй Куприяновым из Тагино и Николаем Тубольцевым из Глазуновки, я издавал на свои деньги. А ещё финансовую помощь оказали фермеры

А.С. Волков и В.М. Кузин. Только нехваткой средств можно объяснить, что много материала из прошлого Глазуновского района в эту книгу не вошло, но об И.Г. Похлебаеве мы в этой книге всё-таки рассказали.

Примеры, которые я привёл, нельзя назвать типичными для нашей российской действительности, но они заставляют думать о неразрывной связи прошлого и настоящего, о событиях, происходящих в нашей стране и на Украине сегодня, и что будет завтра у нас дома и у соседей. Воистину, что посеешь, то и пожнёшь. А пока могу сказать, что сеятели мы неважные.

## **2. Где ты, Кузькина мать?**

Так уж получается в нашей жизни, что в каждодневной суете, наполненной решением бытовых проблем, человек не всегда способен подняться над ними, чтобы оглянуться вокруг и увидеть нечто более важное, мимо чего он вчера прошёл и не увидел; или, возможно, это важное от него намеренно засекретили. По прошествии времени всё оставшееся «за кадром» необратимо становится историей и чаще всего остаётся практически неизвестным на всю оставшуюся жизнь. А узнай человек, — глядишь, и по-другому бы он размышлял в своих действиях и поступках.

Приближается 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это значит, что 9 мая 1945 года страна ликовала: ура, пришёл желанный день Победы! А в это время США уже готовили для

нас новые испытания. Откуда такая патологическая ненависть к России, к Советскому Союзу, к русскому человеку партнёров по антигитлеровской коалиции и вообще Запада? Как писал Иван Ильин, «западные народы боятся нашего числа, нашего пространства, нашего единства, нашей возрастающей мощи (пока она, действительно, вырастает), нашего душевно-духовного уклада, нашей веры и церкви, наших намерений, нашего хозяйства и нашей армии. Они боятся нас: и для самоуспокоения внушают себе..., что Русский народ есть народ варварский, тупой, ничтожный, привыкший к рабству и деспотизму, к бесправию и жестокости...

Европейцам нужна ДУРНАЯ Россия: ВАРВАРСКАЯ, чтобы «цивилизовать» её по-своему; УГРОЖАЮЩАЯ СВОИМИ РАЗМЕРАМИ, чтобы её можно было расчленить; ЗАВОЕВАТЕЛЬНАЯ, чтобы организовать коалицию против неё; РЕАКЦИОННАЯ, РЕЛИГИОЗНО-РАЗЛАГАЮЩАЯ, чтобы вломиться в неё с пропагандой реформации или католицизма; ХОЗЯЙСТВЕННО-НЕСОСТОЯТЕЛЬНАЯ, чтобы претендовать на её «неиспользованные» пространства, на её сырьё или, по крайней мере, на выгодные договоры и концессии».

Именно 9 мая 1945 года, в день Великой Победы, прозвучала из уст одного из американских дипломатов фраза, предопределившая начало тайной, а потом и открытой сорокалетней «холодной» войны Запада с Россией. Вначале были планы «горячей» войны: в ноябре 1945 года – под кодовым названием «Тоталити», который предполагал нанесение разрушительных

атомных и обычных бомбовых ударов на 20 самых крупных советских городов. При этом, как и фашисты, они делали ставку на внезапность нападения. Планируемые человеческие жертвы – 10 миллионов.

Были ещё два плана: «Чариотир» и «Флитвуд», которые предусматривали сброс с 1 по 30 апреля 1949 года 133-х атомных зарядов уже на 70 городов, из них восемь – на Москву и семь – на Ленинград. Был и третий план – «Дропшот»; военные действия должны были начаться 1 января 1950 года, и на весь «блицкриг» отводилось три месяца, так как за этот срок должно быть сброшено на 100 советских городов 300 атомных и 20 тысяч обычных бомб с дальнейшей оккупацией СССР американскими войсками. До каких-то пор эти планы были секретом, а сегодня о них мы уже читаем в книгах и журналах.

Например, приводимые здесь факты опубликованы в книге О. Платонова и Г. Райзеггера «Мировая гегемония Америки. Летопись кровавых преступлений». – М. Алгоритм, 2012.

Согласно секретной директиве Совета национальной безопасности США 1948 года в России должен быть установлен новый режим, не располагающий большой военной мощью, экономически зависящий от США, не имеющий большой власти над главными национальными меньшинствами СССР (фактически предполагалось расчленение России), не создающий «железный занавес» на своих границах. Но готовность Запада перейти из состояния «холодной» войны в

«горячую» не стала секретом. Потом у России появилась своя атомная бомба; но самое убийственное для Запада, остудившее их пыл, – подал из космоса сигналы искусственный спутник земли, а это означало, что мы можем её донести в любую точку планеты в считанные минуты.

Начало холодной войны против России помечено эпохой Петра I, когда великий реформатор прорубил окно в Европу, и она не прекращалась никогда. Формы этой войны были разные во все времена: она велась то открыто, то, на первый взгляд, как бы затихала, и Запад начинал жить в добрососедстве. На самом деле под прикрытием миролюбия накапливались силы, чтобы потом, злобно ощерившись, уже в который раз осуществлять безуспешную попытку нашествия. Но цели во все времена и до сегодняшнего дня оставались одни и те же: свести до минимума мощь и влияние Москвы. А согласно послевоенной директиве – свержение Советской власти.

Вот цитата из этого документа: «Мы должны принять в качестве безусловной предпосылки, что не заключим мирного договора и не возобновим обычных дипломатических отношений с любым режимом в России, в котором будет доминировать кто-нибудь из нынешних советских лидеров или лица, разделяющие их образ мыслей. Мы слишком много натерпелись в минувшие пятнадцать лет, действуя так, как будто нормальные отношения с таким режимом были возможны».

Товарищ Сталин лучше всех разбирался в международной обстановке и всегда знал, что делать и как. И когда он обвинил Рузвельта как союзника в неискренности в вопросах изготовления ядерного оружия, он твёрдо заявил: «Вашингтон и Лондон надеются, что мы не скоро сможем соорудить атомную бомбу. А они тем временем будут, пользуясь монополией США, а фактически Англии и США, навязывать нам свои планы как в вопросах оружия, так и в вопросах положения в Европе и в мире в целом. Нет, такого не будет!»

Думаю, что только поэтому разбушевался и другой наш генсек, товарищ Хрущёв, когда стучал по трибуне снятой с ноги туфлей и грозился господам капиталистам показать Кузькину мать; а Кузькиной матери боялись во все времена.

Утвердившись, что нашу страну в атомной войне победить нельзя, американское правительство приняло долгосрочный план разрушения Русского государства, который включал компрометацию КПСС как руководящего органа страны с целью полного её развала и ликвидации, разжигание национальной вражды, втягивание СССР в непосильную гонку вооружения и истощение его экономически. Этот план включал в себя «проект демократии, гарантирующий широкомасштабную помощь оппозиционерам внутри страны и в странах Восточной Европы в целом – в деньгах, вооружении, типографском оборудовании, налаживании среди населения подрывной деятельности». Свой чудовищный план разрушения уникального советского

государства с бумаги они перенесли в нашу действительность. Воистину империя зла!

Что видят жители нашего Русского государства после горбачёвских реформ, после того, как первый Президент России Б. Ельцин, самодовольный, преисполненный гордости от победы «демократических» сил, пообнимался с Колем? Простые люди вспоминают эти страшные годы с известным оттенком: мол, почудили над нами!.. За четверть века утрачена слава и мощь великого советского государства, отдано на поругание всё русское, чем мы всегда могли гордиться. Они же дружески обнимались с нашими сегодняшними «демократами», а сами каждый день, каждый час претворяли в жизнь свои планы по уничтожению Русского государства. И сегодня большую нашу страну, растерзанную, разграбленную, не способную обустроить свои территории для нормальной жизни человека, продолжают рвать на части. Они, то есть западники, по— прежнему находят среди нас способных встать под знамёна Власова и Бандеры, снабжают деньгами, дают в руки оружие. И не боятся это делать, потому что некому у нас теперь показать им Кузькину мать.

### **3. Последний оплот**

Каждое время года по-своему радует человека: весна – первой зеленью, первоцветом; лето – первой радугой и первым огурцом, невыразимо приятными запахами сена и первого намолота озимой пшеницы;

в противовес ему зима: скупа, в том числе на краски; и всё же есть в ней своя прелесть, без чего зима – не зима и лето не будет летом. Но осень!.. Тут уже не поспоришь – в ней все времена года сходятся разом: с дождями и морозами, с разноцветьем и щедростью природной. Из поколения в поколение благословенна осень для человека, когда создавались продовольственные запасы: наполнились хлебом амбары и с огородов свозилось и сносилось всё, что позволило бы прожить безбедно ещё один год.

С болью думаю, что в жизни современной деревни многое изменилось, что она уже совсем не та, какой была в недавние – советские – времена. И снова в пример моя родная Васильевка, а деревень с таким названием по стране целая сотня наберётся. Ведь только в каталоге почтовых отделений России я насчитал их более пятидесяти, и, думаю, судьба у всех их – от Москвы до самых до окраин – одинакова.

В моей Васильевке два магазина; в благополучные советские времена успевал обслуживать один, райповский, хотя народу в ней и ещё в нескольких близлежащих деревнях было, наверное, вдвое больше. Да, ассортимент расширился: на витринах круглый год свежие огурцы, помидоры, капуста, лук, морковь, яблоки и молоко, творог, сало и ещё много чего, но всё больше европейского, и даже из-за океана «ножки Буша».

– Как в супермаркете городском, – подвела черту бабушка Алина, соседка через дорогу. – А ведь испокон веков всем этим деревня всегда обеспечивала себя сама.

Не понимая, осуждающе ли говорит моя соседка, а может, просто для сведения, с ней соглашаюсь и я, хотя хорошо знаю, что сама она уже давно рассталась с коровой, не так давно – с козой, а красивые деревянные грабли, которые я ей однажды подарил к сенозаготовкам, за ненадобностью отправила на чердак. Но ведь огород-то со всем необходимым для своего стола у неё сразу от порога! И в то же время товар в магазинах не залёживается, он весь раскупается, а это говорит о многом.

Я часто бываю в Орле. Электричка для глазуновцев – самый надёжный вид транспорта: в течение светового летнего дня их туда со станции Глазуновка отправляется шесть, естественно, столько же идёт и в обратном направлении. В советские времена в каждой электричке было по двенадцать вагонов, и все они никогда не пустовали; первая, шестичасовая, к Орлу до отказа заполнялась рабочим классом и студентами. На станции в разные годы останавливались и скорые поезда – курский, мариупольский, новороссийский, севастопольский, бакинский, адлерский, то есть всё делалось для удобства человека. Сегодня видит удручающую картину каждый, кто стоит со мной в ожидании электрички; на фоне разукрашенного перед сочинской олимпиадой вокзала, с обновлённой – по-европейски – надписью на русском и английском языках, её ни приукрасить, ни спрятать: девятый вал сочной травы вперемежку с бурьяном, вымахавших на добротной и хорошо пролитой дождями земле, прихлынул

к самому перрону; жиденькая шеренга пассажиров; электричка словно подкрадывается – всего четыре вагона, которые к Орлу заполняются в редкий день. Об остановках скорых поездов не объявляют, отменены, кроме одного, курского: они словно отстали, и не на несколько минут, как обычно это бывало с ними в советское время, а на целых двадцать лет. Поедешь в любую из четырёх сторон света – от Москвы до самых до окраин одна и та же картина! Хотя нет, от срединной России к северу ещё страшнее. Всё верно: народ вымирает, ехать в дальние края приходится редко кому, да и юг россиян теперь не прельщает, тем более сегодня всё по тому же злодейскому плану европейских и заокеанских «демократов» рвут на части братскую Украину.

В Орле прошлым летом провёл экскурсию по вокзалу: время изменило не только человека, который на почве бездуховности утратил свои лучшие качества и стал мыслить всё больше по-европейски, а претерпел изменения и орловский вокзал: он всё больше стал походить на супермаркет, где тебе предоставят любую услугу, но при этом ты будешь чувствовать себя стеснённо и неудобно. И это-то при небольшом скоплении народа!

И всё бы ничего, не бунтовала бы душа, не подойди я к расписанию движения пассажирских поездов дальнего следования: резали по глазам строчки «отменён... отменён...отменён». Пересчитал их: 57 отменённых поездов на Москву, столько же из Москвы, да плюс

к ним девять, что стали ходить по чётным числам. И как итог: мимо нашей Глазуновки за сутки стало проходить на 132 пассажирских поезда меньше; на сколько грузовых составов – не скажу, но знаю, что только в одном направлении все они – пассажирские и грузовые – стучали по рельсам не реже чем через каждые десять минут только в одном направлении. Страна жила полнокровной жизнью: люди ехали на работу, отдыхать на море и в гости; грузовые составы везли крепёжный лес шахтёрам, а от них – уголь; вагоны были загружены техникой, оборудованием, арбузами, словом, всем тем, что производилось в нашей большой стране. Кому сегодня путешествовать, если только в Орловской области около 400 деревень, в которых никто не живёт, и столько же, в которых живут от одного до десяти человек!

А там, где слабеет человеческая деятельность, на человека наступает природа.

## **РОДИНА**

Вот она, родина,  
самая-самая малая:  
Домик над речкой  
и чёрный – с весны – огород;  
С поля туманного  
воды торопятся талые,  
Мимо деревни,  
в которой никто не живёт.

Дальше всё так же,  
    пойди по родимому краю;  
В грустном безлюдье  
    дрожит на ветру полынок.  
Дикое поле!  
А свадьбы давно не играют  
В дальней Гнилуше,  
    где Галя живёт Голенок.

В шумной Оке  
    громоздятся тяжёлые льдины,  
Здесь лозняки и бурьян  
    заслонили собой Тагино.  
Смыло волнами Союз наш  
    большой и единый,  
Как на поминках,  
    всё плачем и хлещем вино.

Рвётся наружу  
    пьянящее чувство свободы,  
В воздухе плавают  
    запахи талой земли.  
Строем и с песнями  
    вышли мы все из народа,  
Долго ходили  
    и с матом обратно пришли.

Родина милая,  
    самая малая, росинка:

Речка да поле,  
    над полем колышется пар;  
Редкие домики –  
    с бору не выйдет по сосенке;  
Пусто и страшно,  
    как после набега татар.

Центральное телевидение показало телефильм Никиты Михалкова, где автор охает и ахает, задаваясь вопросом: как же такое могло случиться с нашей деревней? На десятки километров ни жилья, ни человеческого голоса, один сплошной бурьян да молодые смешанные леса, где четверть века назад стояли большие и красивые деревни, и чуть поменьше, со своим укладом жизни, со своими песнями и обрядами, со своими знаменитыми людьми. Веками по всей нашей большой стране, от Москвы до самых до окраин, большие и маленькие города и деревни, и люди, их населяющие, знаменитые и не очень, — все они делали своё, нужное им и государству дело; и тем была сильна Русская земля.

Актёр он и есть актёр, и не только на сцене, а и в жизни. Такие не покаются, что это и их рук дело; это они захотели жить по-барски, по-европейски, и наплевать им было на тот беспредел, затевающийся на российских просторах, который нёс разоренье. Ведь по стране умирают не только деревни, но и города, которым дала жизнь Советская власть. В них для человека было всё: жильё, работа, детские сады, школы, о которых заботилось государство.

Я ехал поклониться праху великого поэта Пушкина, гения земли русской: на оживлённой трассе всё больше иномарок, вдоль трассы добротные деревянные дома с заколоченными окнами. Это приметы времени: за рулём иномарок состоятельные люди, а хозяев домов безработица увела в другие края, где, как на островке благополучия, потеснее живут люди и где и они нашли какую-то работу. Там жизнь, там процветают такие, как Никита Михалков, которые делают свой «бизнес»; и всем им безразлично, что творится на земле предков этих людей, их обслуживающих.

Зато они нужны бушам и клинтонам именно такие: безработные, униженные и покорные, чтобы потом можно было говорить, что именно они, демократы, спасли Россию и русского мужика от дремучести, дали землю, научили жить по-европейски. Именно таким Запад доверяет и с удовольствием с ними обнимется, реализуя свои жизненные интересы на всём постсоветском пространстве. То, что для русского человека плохо, для них всегда будет хорошо: закрывают больницы и не лечат людей – хорошо, пусть будет больше несогласных с властью; не работают заводы и фабрики – хорошо, они поставят нам всё, от компьютеров, сигарет и «ножик Буша» до военных вертолётоносцев; бюджеты не пополняются, зарплаты и пенсии низкие, всего 300-400 долларов, а не как у европейцев, две-три тысячи, – хорошо, пусть народ кроет шифером всю власть, от и до...

В 80-х годах в Глазуновке сдали в эксплуатацию поликлинику и лечебный корпус центральной

районной больницы на 250 коек. За четверть века из-за недофинансирования в этом огромном многоэтажном корпусе осталось всего 35(!) коек на все отделения. В районе практически разрушен промышленный сектор экономики, вся производственная база колхозов и совхозов, а то, что создаётся с приходом инвесторов, по темпам развития не в состоянии снять социальную напряжённость в районе. Недофинансирование учреждений образования привело к тому, что от 16 школ в районе осталось четыре средних и в трёх из них всего по 50 учеников; в четырёх общеобразовательных не будет и двух сотен. Если быть точным, то в семи сельских школах в 2013-2014 учебном году обучалось 400 школьников. В одном из классов Тагинской средней школы, ещё не так давно самой благополучной в районе по наполняемости классов, обучается три ребёнка. Всё правильно: народ в срединной России вымирает, и, по прогнозам, демографическая обстановка и на перспективу обещает быть неблагополучной. В Глазновском районе в 2014 году, с января по сентябрь, родилось 57 младенцев, а умерло 111 человек, причём большинство из них ушли из жизни совсем не долгожителями. А ведь из века в век деревня прирастала, тем и сильно было государство Российское. Сегодня человеку в деревне со своим «бизнесом» одни проблемы, и потребительская корзина при современном укладе жизни и сервисе формируется со сложностями.

Судить советскими мерками – беспредел, но пожаловаться некому: такие приняты законы, не в пользу

простого человека. К примеру, на местном уровне депутаты приняли закон, чтобы каждый сельский житель содержал птицу в вольерах, в противном случае – административное наказание. Деревня жила веками по своим законам – писаным и общинным. Все налоги, согласно принятым законам, всегда шли на пополнение государственной казны, по-современному – бюджета; и чем больше государство нуждалось в деньгах, тем изощрённее была власть в своих посягательствах на права и свободы граждан, прикрываясь благими намерениями, что мы сегодня и видим.

В Щербатово Очкинской сельской администрации всего один дом, в котором живёт нарушительница закона бабушка Клава, и формально участковый будет прав, составив протокол за разгуливающую по воле птицу. Хотя она и сама боится её выпускать. Боится не участкового, а лис, которые, в отличие от местной власти, привыкли брать с неё натуроплатой. Лисам тут раздолье: за Неручью тоже была деревня, а теперь там бурьян да всевозможные заросли. Её кирпичный дом в родной деревне на краю, значит, последний, как оплот. Затянутые плёнкой его небольшие окна, словно старческие глаза, подслеповато лупятся на кладбище, что за речкой, чуть левее, по Сабуровском бугру. Бабушке Клаве дом достался от родителей, чудом переживших вместе с ним войну; пережил он все послевоенные дома и домишки, одним словом, почётный долгожитель и особых забот ей пока не доставляет. Другое дело: сохранить бы птицу в этих бурьянах.

Да, где слабеет человеческая деятельность, там наступает природа. Глядишь, застарел человек – и уже подорожник подкрался к порогу. Но это не враг, и он свой, искони русский. И ещё свои будут, нашего же происхождения: полынь, чернобыльник да глухая крапива. А наступают и не наши, чужеземцы, они уже давно в России прописались.

Бабушкин огород через дорогу, теперь совсем заросшую, по склону к речке; огород небольшой, а забот хватает. Вспахать и посадить картошку при колхозе было проще, да и против колорадского жука выстоять сил хватало. Но возраст своё берёт, и не сумеешь обработать грядки – останешься без «второго хлеба».

— Подарили нам американцы колорада, — сокрушается бабушка Клава. — Вот и воюй с ним всю жизнь.

А память уводит меня в события более чем сорокалетней давности. Впервые этого посланника демократической Америки я увидел на колхозном поле и до сих пор удивляюсь: вот был у нас в стране «железный занавес», а всё-таки проник на территорию СССР теперь уже закоренелый, можно сказать, обрусевший, но с самого первого дня проклятый народом колорадский жук!

Студентом Глазуновского сельхозтехникума я проходил практику в родном колхозе имени Жданова. С другом Николаем Захаровым в один из летних дней мы обследовали картофельное поле и обратили внимание, что в одном месте на листьях картофельной ботвы большое скопление красноватых насекомых.

— Это божья коровка, — определили мы.

— Нет, — возразила агроном Екатерина Михайловна, — это, скорее всего, колорадский жук, карантинный вредитель картофеля. Нас предупредили о возможном его появлении.

Да, этот подарок капитализма появился в нашей советской деревне вместе с американским клёном, который также с настырным постоянством клинтонов и бушей наступает на русского человека. А уж там, где он зачует человеческую слабину, так быстро подступит к дому, что через год-два из-за его зарослей не увидишь крыши.

Местная власть приняла закон, обязывающий население бороться с сорняками. В Щербатово всё население — бабушка Клава, одна на две деревни; в Александровке остался один домик, Сеченковых; в Садовом посёлке — Михаил Кузнецов и Валентина Володина, они с сыновьями; в Хитрово ни одного жилого дома. Кому бороться? И до чего додумалась действующая все эти десятилетия постсоветская власть: в деревне Хитрово ни одного жилого дома, а она постаралась и в ней установить таксофон. Да некому звонить оттуда! Для чего тогда устанавливали? А они по всем пустым и полупустым деревням и посёлочкам, от Москвы до самых до окраин, потому что кто-то на этом делал свой бизнес: каждый таксофон обошёлся государству около 20 тысяч рублей, и, предположительно, только в Глазновском районе их установлено более 60.

И всё-таки: во всех деревнях полынь да бурьян, как признак неухоженности земли и бескультурия её

хозяина. Наши хозяева-однодворцы не в счёт, возле их домов косы поработали. Дальше уже другой хозяин, с кого надо спрашивать. Но кто он?

Наш народ много чего ещё не знает – от Москвы до самых до окраин; и рассказать ему про все секреты есть кому, но так ловко действующая единороссовская власть применяет на практике унаследованный от КПСС принцип демократического централизма, что сразу чувствует человек бесплодность своих усилий.

А мне и многим моим согражданам такая постановка вопроса не нравится, даже тем, кто голосовал за такие законы. Но пожаловаться некому, чтобы добиться справедливости. В советские времена люди со своими проблемами шли в райком КПСС – это была сила: райком с его аппаратом всё мог! Но вот беда: где-то далеко в 1991 году громыхнуло, и от Москвы до самых до окраин все райкомы тихой сапой разбежались кто куда. Сегодня в Глазуновке в районной партийной организации КПРФ из тех первых, вторых и третьих, завотделов – ни одного. И не было с самого первого дня её создания. Инструкторов достойно представляет Т. А. Гаранина.

Последней сдалась без боя, пробыв в должности первого секретаря райкома КПСС всего один день, Надежда Пентюхова. Большинство из бывших партчиновников нашли себе тёплые и не очень тёплые места, в то же время забыв, кто они были, и что народ, который они пытались учить и воспитывать, им доверял. Выходит, что не ради высокой идеи они жили и работали, а за нечто дурное.

И всем-всем им покаяться бы сегодня, собравшись на такой, допустим, всероссийский форум под названием «Пленум бывших функционеров КПСС», поработать над ошибками, своими и своих однопартийцев; но они этого не сделают. Они и в эти нехорошие времена, когда бывшие союзники из-за океана оставили «с носом» наших Президентов, – и с которым обнимались, и с теперешним, который, по-военному, обниматься не любит, а всё больше по телефону, – будут и дальше помогать обворовывать страну, рушить последнее, надеясь на торговлю газом и нефтью. Это извечным врагам Русского государства и нужно: стабилизационный фонд – на поддержание их экономики, и личные свои «сбережения» туда же; нефть и газ по «Северному потоку», по «Южному» – тоже на эти цели; а ты, «немытая Россия, страна рабов, страна господ», оставайся и дальше немытой, как бабушка у разбитого корыта.

Что посеяли, то и пожинаем.

## ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО

### 1. Куда идём?

**К**рестьянин издревле смотрел на небо, ибо, думая о том, что надо ему пахать и сеять, заготавливать сено и молотить, он хотел знать, какая будет погода в ближайшие дни и на перспективу. Сегодня у нас 21 век, и многое, если не всё, в обще-

ственном устройстве государства изменилось. Самое жизненное – человеку теперь можно и не смотреть с этой целью на небо: есть интернет, телевизор и газеты, откуда он может получить эту информацию, пусть даже и не всегда точную, что, в общем-то, совсем не беда. Беда в другом: не стало крестьянина!

Его не стало после того, как «убили» колхозы, а землю – единственное, чем жила деревня, – вынудили отдать в аренду неизвестно кому. На 49 лет! Что взамен? Пять центнеров зерна за пай, а гектаров этих у бывшего колхозника в пае семь, а у кого-то, может, шесть, пять или ещё меньше, следовательно, они меньше и получат. Вот тебе, мужик, получай на весь год для своего личного подсобного хозяйства и скажи спасибо, иначе бы все твои гектары заросли бурьяном; а через несколько лет их у тебя власть изъяла бы, и ты бессилен будешь что-либо сделать, потому что такие законы действующей властью приняты – не в пользу простого народа.

В связи с этим ещё одна большая беда: в советское время каждый человек уже с детских лет был вовлечён в общественную производственную сферу, то есть находил по себе оплачиваемую работу, получал на заработанный рубль достаточное количество зерна, и если его не хватало – мог прикупить по дешёвой цене в своём же колхозе; а сегодня всего этого он лишён. Коллективные хозяйства выдумала не советская власть, они родились из крестьянской общины, которую не удалось вытравить даже в ходе стальной реформы. А новое – это хорошо забытое старое: во второй половине 19 века один пензенский поме-

щик «на свой страх» попробовал организовать общественную запашку; потом это новшество внедрили на других работах, причём велись они посменно. И самое главное: общественный хлеб на них зарабатывал любой нищий и даже калека, для которого находили дело: например, человек с одной рукой водил лошадь, одноногий считал в риге привезённые с поля снопы.

В общем, у помещика это новшество привилось, потому что понравилось ему и его крестьянам; хотя, думаю, если бы оно его людям и не пришлось по душе, помещик всё равно сделал бы по-своему. Но факт остаётся фактом: в тот же год двести деревень, как писали бы сегодня в газетах, применили у себя более прогрессивную форму организации труда в полеводстве; то есть можно смело говорить: коллективные формы организации труда начали пробивать себе дорогу уже в те далёкие времена.

Сегодня у нас другие времена: как-никак, а почти на полтора века ушли вперёд. И крылатое слово «инвестор» прилетело к нам вместе с ветрами перемен. Но сначала надо было довести крестьянина до нищеты, разворовать всё общественное, и там, где это было сделано быстро и изошрённо, они и появились в первую очередь. Самые жирные куски народного достояния в Орловской области прибрало к рукам новоиспечённое дитя хитрого губернатора Егора Строева – агрофирма «Орловская нива» со своими дочками – «нивками». После губернаторского нашествия в Глазуновском районе на землях почти всех бывших колхозов вот уже много

лет властвует ООО «Орловский лидер», который, как питон, проглотил их не только здесь, а и в других районах Орловщины, в других областях; и с его приходом люди сразу почувствовали в своей жизни неудобства.

«Ура, пришёл инвестор! – трубили газеты. – Он будет вкладывать средства в социально-экономическое развитие района!» Сколько лет уже позади, и пересчитайте, хотя бы на пальцах, плоды этих вложений, благотворно влияющих на нашу повседневную жизнь. Увы, нашему инвестору, да и не только нашему, а и всем, стоящим в этом ряду, сельский житель с его проблемами не нужен. Ему не нужны ни дороги, ни общественные здания; его не интересует ни одна проблема ни одного населённого пункта. Он, этот инвестор, как бы есть, и его как бы нет.

У инвестора есть одна земля, от работы на которой он получает большие прибыли. Землю он взял в аренду у бывших колхозников на 49 лет по договору, в соответствии с которым выплачивает им за каждый пай, а по Васильевке, например, это 7 гектаров пашни, всего по пять центнеров зерна не самого лучшего качества, то есть за один гектар не выходит и по центнеру. Инвестор ещё обязан пахать огороды, но практически не пашет; собственно, услуги инвестора не идут ни в какое сравнение с теми, которые предоставляли в своё время колхозы и которые предоставляют по аналогичным договорам аренды местные крестьянско-фермерские хозяйства. Например, в крестьянском хозяйстве «Горизонт» Александра Волкова все арендодатели получают за каждый земельный пай по семь с половиной центнеров зерна,

причём, по желанию: пшеница, ячмень, овёс – выбирай, человек. Огороды Волков пашет; тем, у кого на дворе корова, предлагает сено, словом, к народу он ближе.

Очевидно, только поэтому около 20 хозяев земельных паёв несколько лет назад решили с «Лидером» расстаться и передать землю другому фермерскому хозяйству. Увы, как показал ход событий, своей земле они уже не хозяева, распорядиться ею по своему усмотрению не могут; и это даже несмотря на то, что при заключении договора аренды их подписи были фальсифицированы. Как говорят сегодня люди, дело зависло в суде, и «Орловский лидер» терять землю не намерен, хотя правда на их стороне.

Глазуновский район сельскохозяйственный; испокон веков эту землю населяли крестьяне, но кто же ты теперь, человек, живущий на этой благословенной земле, прославленной предками, отцами и дедами, проливавшими свою кровь за свободу и независимость своей страны? Крестьянином не назовёшь, так как постоянной работы на своей земле для тебя нет; да и где она, твоя земля, – и тут обошли-объехали, сумели на 49 лет забрать в аренду, практически отлучить от неё. Что будет через 49 лет, никто сегодня ответа не даст, но факт остаётся фактом: так обложили крестьянина законами, что, сдав в аренду свои кровные гектары, не в силах он теперь вернуть их обратно, чтобы распорядиться по-другому, с большей пользой для себя.

Передо мной газета «Орловская искра» за 12 сентября 2012 года, в которой опубликовано коллективное

письмо жителей села Архангельское Очкинского сельского поселения, адресованное Президенту Путину. Суть письма проста: инвестор «Орловский лидер» пользуется земельными паями по договору аренды, который владельцы паёв... не подписывали. Свои договорные обязательства, предусмотренные им самим для себя же, в отношении владельцев паёв он не выполняет. «Помогите вернуть землю!» — просят люди, потому что власть не на их стороне.

Много дорог исходила-изъездила по поручению своих земляков Людмила Власова, где только не побывала, в каких только приёмных не сживала: от бухгалтерии ООО «Орловский лидер», через прокуратуры и суды, до приёмной Путина. Результата нет. Заинтересовавшись этим вопросом, я прошёл по следам Власовой: встречался с прокурором Глазуновского района Александром Демиденко, со следователями отделения полиции «Малоархангельское» ( в связи с реорганизацией в МВД глазуновские полицейские теперь в их составе); лично читал копию договора аренды, которая хранится в Очкинской сельской администрации, и всё дивился на подписи арендодателей: даже неискушённый в криминалистике человек сразу обратит внимание, что в документе буквально все подписи сработаны одной рукой.

Казалось бы, закон должен стать на сторону жителей поселения, обманутых, но воспротивившихся обману. Да разве может инвестор расстаться с землёй, если ему от крестьянского пая в пять гектаров идёт большая

прибыль?! Допустим, получая с каждого гектара по 40 центнеров зерна, он отдаёт за весь свой пай всего пять центнеров, причём, не обязательно качественного, а 195 центнеров остаются у него. На наших же чернозёмах получают больше.

Огороды крестьянские инвестор не пашет, транспортом не помогает, вот и веди якобы крестьянин и хозяин земли (помните перестроечный лозунг начала 90-х годов прошлого века : «Землю – крестьянам!»?) своё подсобное хозяйство. А ведь оно лежало в основе крестьянского бюджета, потому что пенсии и зарплаты у селян мизерные: по 8–10 тысяч рублей, а у Власовой и того меньше. Тыкать пальцем в сторону нищей Европы не будем: без газа и нефти пенсии у европейцев в 8–10 раз больше.

Прочитал письмо архангельцев Президенту и подумал: народ наш ещё не научился бороться за свои права. Точнее, он и не учился, так как совсем недавно свободно пользовался всеми записанными в Конституции СССР правами. Сегодня у народа отобрали право на труд, на бесплатное образование, лечение; лукаво отобрали в 90-е годы землю, сделав её товаром.

Земля становится источником наживы, что в очередной раз подтверждает более скандальная история, к которой причастны бывший глава Глазуновского района А.Сизов и работники земельного отдела районной администрации: прокуратура уличила их в противозаконных операциях с земельными паями Жариковых, а операции эти подпадают под действие

Уголовного Кодекса РФ. Очевидно, опасаясь в преддверии выборов 2012–2013 гг. огласки этого криминального дела, действующая власть постаралась в спешном порядке расстаться с его фигурантами, лившими воду на мельницу уже другой инвестиционной компании.

Владельцы земельных паев в обеих этих историях пытаются отстаивать свои права, но, как было уже отмечено, дела продвигаются медленно, даже можно сказать: стоят на месте, и для ускорения скрипучее колесо государственной машины нуждается в смазке. Могу предположить, что земляки мои снова будут писать, как пишут сегодня многие восставшие против несправедливости; ещё больше – которые не пишут: смирились.

В прошлом году привела меня дорога в Гнилушу, одну из самых отдалённых от райцентра деревень. Неяркий ноябрьский день накладывал сумрачный отпечаток на всё, что было доступно глазу: неброские, как присмирившие, жилые дома; вот нежилой – он, как мертвец, чёрный, окна-глазницы безжизненны. Самое живое место – почтовое отделение, куда торопятся люди, но сам вид помещения был настолько убог и невзрачен, что на память невольно пришло сравнение из русских сказок: избушка на курьих ножках, да и только. Но люди как люди – со своими радостями и земными заботами, не замыкаются в себе и, самое главное, думающие и открыто говорят о том, что хорошо в их жизни, а что не так, как надо бы.

Гнилуша приноровилась к условиям, в которые поставила русскую деревню новая буржуазная власть – жить-то надо. Как и в Васильевке, кто-то работает в школе, кто-то подался на сторону, в основном, в охранники, словом, кто как мог, искали для себя работу на бескрайних российских просторах – от Москвы до самых до окраин; но в любом случае дороги их ведут через Орёл в Москву и Питер. Дома остались те, кто получает пенсию, кто рассчитывает прожить за счёт своего подсобного хозяйства. Но для того, чтобы живность на подворье кудахтала, мычала и хрюкала, нужно зерно и другие корма. А зерна гнилушинцы получают за сданную в аренду землю всего по пять центнеров, у кого в доме два земельных пая – привезёт десять. Корова, поросёнок, гуси, куры... Не прокормишь этим – не проживёшь.

Крестьянин извечно держался за землю, за свой клочок земли, который спасал его от голодной смерти. Каким большим он был, этот его надел? Разный – во все времена, потому что рвали её у мужика сильные мира сего, и ничего-то он не мог поделаться с этим злом. Не заглядываю в те далёкие века, а нарисую картинку из советского прошлого, чему я был свидетелем.

Васильевка – деревня, как все деревни среднерусской полосы России: домики в два посада, сразу за домом – огороды; а дальше, – как в песне: всё вокруг колхозное, всё вокруг моё. В 50-е годы, в десяти годах от прокатившейся здесь войны, родительский огород начинался сразу от угла дома. И совсем неважно, что

за углом пришёлся к месту погребок, который вбирал в себя на зиму всё выращенное на огороде: от угла дома и – вниз, к лугу, до самого рва, которым ещё с дореволюционных времён обозначили общинную землю, – твоя земля. Твоя! И хоть сажай ты что-либо на ней, хоть строй погребца и сараи: ты её хозяин. Нет, на огородной земле не строили: нужна была картошка – себе и скотине; нужен был полный ассортимент того, что всегда лежало на крестьянском столе: семьи-то были большие – нас, к примеру, у родителей на лавках сидело пятеро; а на дворе – мычало, бляяло, хрюкало, кудахтало-кагакало, то есть просило корма, так что и двадцати соток на всё про всё не хватало.

Не хватало пахотной земли и государству, у которого своих послевоенных проблем было с избытком; не хватало и колхозу, и только поэтому в любой год огороды могли укоротить и засеять эту площадь коноплей. А ещё припахивали к полевому севообороту от лугов; при этом власть следила строго, чтобы, не дай бог, мужик не припахал к своему огороду лишнего. Социализм – это учёт, а земля – народное достояние, и для контроля в какие-то сроки создавали специальные комиссии, это когда огороды уже зазеленеют посадками.

В 1969 году, где-то в середине лета, в составе такой комиссии оказался и я, в то время работающий бригадиром комплексной бригады; в руках у меня сажень. В Щербатово вторым от краю, по верхнему ряду, стоял дом деда Соина. Я прошёл вдоль грядок, замерил распаханное; дальше – луговина, по которой стелилась тыквенная ботва.

– Замеряй, – говорит Анохин Валерка, бывший мой одноклассник, а на тот момент представитель от районной власти.

– Сынок, – слёзно просит старик, – я же не распахивал дальше, тыква-то сама туда.

Тревога его понятна: за сверхнормативные сотки придётся платить.

– Давайте не будем, – решает Мария Васильевна Смолякова, секретарь сельсовета и одновременно председатель нашей «чрезвычайки» по земельному вопросу

Это уже потом земельные вопросы стали решаться проще, и с каждой советской пятилеткой крестьянину вздыхалось легче: огород его начинался уже не от угла дома, потому что рядом с ним давалось место для сада, для грядки зелени; то есть, если была нужда, он отступал на добрый десяток метров; и если мало тебе двадцать пять соток – бери тридцать пять, сорок, в общем, сколько сможешь обработать.

При Ельцине для ведения подсобного хозяйства давали селянам по одному гектару пашни: паши, крестьянин, зерновые сей! В Гнилуше таких смелых набралось с десяток; в Архангельском – не меньше, а в Васильевке – всего трое. Но своей техники у обладателей гектаров, естественно, нет, и кто-то им вспашет, кто-то обмолотит, не бесплатно, конечно, но главное – домашнее хозяйство с зерном.

А ещё в Гнилуше были «чернобыльские», которые получали в каждом доме; и все их ожидали с большим нетерпением, чтобы за счёт этой мизерной компенсации

за потерю своего здоровья решить некоторые финансовые проблемы. И вот пошёл гулять по деревне упорный слух, что «чернобыльские» власть хочет отменить. Несколько лет назад их в стране уже отменяли: тогда г-н Черномырдин, премьер-министр правительства РФ, посмотрел на карту страны, зажмурил один глаз и единым росчерком пера оставил без компенсации добрую половину населённых пунктов, попавших под чернобыльское радиоактивное облако. Тогда Гнилуша оказалась в другой половине, теперь же новое правительство замахивалось на вторую половину. И гнилушинцы написали коллективное письмо в Москву, Д. А. Медведеву, с просьбой к власти не лишать их этой льготы, так как количество заболеваний, вызванных радиационной катастрофой, не только не уменьшается, но даже возрастает, радиационное заражение сохраняется, и люди просят провести независимую от чиновников экспертизу заражённой зоны. И ещё они докладывали в столицу, что уже несколько месяцев у них закрыт медпункт, что нет автобусного сообщения с райцентром. А потом гнилушинцам, как и моим землякам из Васильевки, снова не повезло: в Доме культуры прохудилась крыша...

Я более тридцати лет проработал в Глазуновской районной газете – сначала корреспондентом, потом заведующим отделом писем и почти четверть века редактором – и не могу припомнить случая, чтобы в редакцию или в государственные органы различного уровня приходили коллективные письма с просьбами

о спасении. Вдумайся, дорогой читатель, о чём просят люди: «Помогите вернуть нашу землю!», «Не закрывайте детсад и медпункт!», «Не лишайте больных людей «чернобыльских» льгот!». Под этими письмами подпишутся жители любого сельского населённого пункта нашей страны – от Москвы до самых до окраин. А кто учился в советской школе, вспомните вместе со мной напечатанный в школьном учебнике грустный чеховский рассказ о судьбе мальчонки Ваньки Жукова, которого отдали в учение и который вот так же писал письмо дедушке Макару о своей невыносимой жизни и слезно просил его пожалеть. От чеховских героев нас отделяет более ста лет; и хотя письма наших дней написаны уже не детским почерком, но они как из далёкого прошлого.

Куда идём?

## **2. Власть с протянутой рукой**

**В**се инвесторы пекутся о привлекательном инвестиционном климате; ООО «Орловский лидер» не исключение: он своё получал. В отчётах администрации Очкинского сельского поселения «Орловский лидер» присутствует всего одной строчкой, где проставлена сумма платежей земельного налога. Но если верить неофициальным источникам, инвестор использует земли и по невостребованным паям – это хозяева которых по каким-то причинам принадлежащую им землю юридически не оформили, и «Лидер»

пользуется ею как своей. Вот вам и инвестиционная привлекательность! Например, в 2012 году его было перечислено по юридически оформленным гектарам около 400 тысяч рублей, и можно смело говорить, что это почти все его вложения. Есть ещё вложения в виде налогов с физических лиц, но от них сельскому поселению по закону достаётся всего десять процентов, да и работников-то из этого поселения у инвестора не так много. А согласно этому же закону о местном самоуправлении все вопросы жизнеобеспечения относятся к компетенции местной власти, так что денег у неё явно не хватает; мы пока живём за счёт советского багажа, и чем дальше уходим от советской эпохи, тем сложнее приходится решать социальные проблемы. Вот один из примеров.

В моей родной Васильевке водопроводу 40 лет; работая бригадиром, я выделял на его строительство людей в помощь приезжим мастерам. Пришла пора водопровод обновлять, для чего подготовили проектно-сметную документацию на 400 тысяч рублей. «Сверху» пришло 300 тысяч, а 100 тысяч на софинансирование должна была найти местная власть. Не нашла, и деньги отправили туда, откуда они пришли.

Я не случайно в своём повествовании о незавидной доле сельского жителя начал с примера о том, насколько важно было для человека знать, какая его ожидает погода. И пусть сегодня деревня уже не та, в том числе и моя родная Васильевка, и другие деревни – от Москвы до самых до окраин, всё-таки интерес к прогнозу

не утрачен. К примеру, где берут начало Неручь и Ока – самое верховье, водораздел, откуда эти реки несут свои воды в Волгу. На станции Малоархангельск Московской железной дороги стоит возле вокзала пакгауз – добротное кирпичное здание, построенное сразу же после войны; один скат его крыши северный, другой – южный. Идёт дождь – вода с северного ската течёт в Волгу, с южного – в Дон; а ключи пробиваются из-под земли рядом с магистралью. Ненастье налетает на это верховье со всех сторон, но не всегда через него находят для себя дорогу благотворные дожди. Земные силы уводят их в обход, в ту или иную сторону, разворачивают в обратном направлении, и в деревне печаль: сушь, огороды без полива.

Что бы ни говорили, а есть при этом другая категория людей, пусть и небольшая, которым в такие дни присуще двойственное восприятие подобного явления природы. С одной стороны, плохо, что огород остался без полива; с другой, – хорошо, что дождь обошёл Васильевку, и небесная влага не залила детский сад и Дом культуры, в которых прохудилась кровля. Можно предполагать, что это хроническая болезнь 21 века: вот уже более двадцати лет, как не стало советской власти, и все эти годы в бюджетах, ни в местном, ни в районном, не то что на их капитальный ремонт, на текущий средств не находилось.

Много лет текла вода по стенам через прохудившуюся крышу в Васильевском доме культуры. У администрации Очкинского поселения денег нет, в районном

бюджете тоже гуляют сквозняки, потому что живёт он только на дотациях областного бюджета, а Орловская область, как известно, тоже на дотациях. Но всё-таки местная власть где-то «выбила» 150 тысяч рублей, и ремонт состоялся. Увы, прошло два года – и та же болезнь: говорят, в работе был допущен брак. На новый ремонт денег также нет. Была бы у поселенческой власти своя чеканка, тогда они были бы с деньгами, а её тоже нет, как нет и в других поселениях; и все в вечном поиске. Бюджет Очкинского поселения в 2013 году – 2,6 миллиона рублей, а налогов и четвёртой части не получают. С чего они будут, если на территории никаких производств, только налог земельный да чуток – с физических лиц, дотации около двух миллионов.

Точно так же, двойственно, размышляли, глядя на небо, и в самой сельской администрации, потому что нелады с кровлей были и в собственном здании. Ремонт его обошёлся в 200 тысяч рублей, и все они были также не из бюджета. А вывод напрашивается сам собой: богатейшая страна от Москвы до самых до окраин нищенствует. И можно предполагать, что в налоговом законодательстве в пользу сельских поселений ничего не изменится. Так заставляют думать действия кремлёвской власти.

Сегодня больницы и медпункты переподчинены – они стали головной болью областных, именно они их финансируют. Школы и детские сады под началом районных отделов образования – забота районной администрации. Дома культуры свели под название

«Культурно-досуговое учреждение» (КДУ) и оставили поселению, но и они не по силам местной власти. Например, тому же Васильевскому КДУ, это Васильевский и Архангельский Дома культуры, только на зарплату их работникам на год требуется 1,17 млн. рублей; а ещё есть управленческий аппарат сельской администрации, так что два миллиона дотаций – это только на зарплату всем, кто сидит под худыми крышами; а ведь ещё надо на содержание помещений – электроэнергия, газ. А на их ремонт, пусть даже косметический, на обновление оборудования, ещё на эти же цели на библиотеки деньги надо искать, потому что действующая власть, единороссовская, их не даёт. Сказать проще, денег у неё нет: их разворовали министры и переправили в зарубежные банки, на них приобрели недвижимость; деньги в карманах олигархов, которые от продажи энергоресурсов забирают себе львиную долю дохода: 70 из 100 нефтяных долларов у них в кармане, а 30 остаются у государства; и при этом налоги с 70 долларов платят по мизеру, всего 13 процентов, как простой рабочий или служащий, получающий 7-8 тысяч рублей, за что, кстати, великий актёр-француз и такие же, с ним в одном ряду стоящие, так сильно полюбили Россию.

Однажды я присутствовал на встрече жителей Васильевки с депутатом Орловского областного Совета народных депутатов от фракции КПРФ М.В. Жидовой. Односельчане мои к подобным мероприятиям порой равнодушны, особенно пенсионеры, но работники бюджетной сферы – детского сада, Дома культуры всегда

проявляют активность. Эта встреча не стала исключением, и, как я убедился, у присутствующих к ней был особый интерес. В детском саду уже давно протекает крыша, надежность перекрытий под вопросом, и вдруг возьмут да и признают здание аварийным и детсад закроют, как закрыли два года назад общеобразовательную школу! И тогда они без работы!

Люди написали о своей беде депутатам облсовета от КПРФ, и М.В. Жидова приехала к ним на встречу. Мария Васильевна рассказала о своей работе в законодательном органе, выслушала просьбы. Могу сказать одно: это был плач Ярославны о бедах, о нерешаемых проблемах, с которыми не в силах справиться местная власть; а всё упиралось в отсутствие денег. Их пришедшие на встречу и просили у депутата-коммуниста, которая твёрдо пообещала практическую помощь. И обещание своё выполнила: в 2013 году на здании детского сада засветилась новая крыша.

А мне тогда думалось о другом. На этом месте, где теперь детский сад, до войны стояли жилые дома. В 1943 году, с февраля по июль – целых пять месяцев, через Васильевку проходила передовая немецких войск, это был северный фас Курской дуги, и дома фашисты сожгли. Пострадала и школа, но её быстро восстановили. После войны хозяева на пепелища не вернулись, и лет через десять, когда семилетка уже с трудом вмещала старшеклассников со всех окрестных деревень, на этом пустыре, заросшем полынью, решили построить новую школу, которая через годы стала восьмилетней и

простояла почти четверть века. Затем рядом, благодаря рукам колхозных строителей, выросло для неё более просторное, светлое помещение, в котором уже сидели и девятиклассники; а на фундаменте старого здания школы появился детский сад.

Теперь школу поспешили закрыть, признав здание аварийным; детей, которых стало кратно меньше, потому что деревни практически опустели, возят на автобусе в районцентр. Иного на перспективу не просматривалось: 20 лет действующая власть не выделяла средств на ремонтные работы, а если и выделяла, то самые крохи; но когда пришла необходимость нести большие затраты, школу попросту прикрыли, тем самым в угоду федеральной власти минимизировали всё и вся.

После фашистского нашествия в Васильевке школы строились каждые 25 лет, а ещё был детский сад, и всё это можно смело называть советским багажом, с которым мы уже третье десятилетие едем в светлое капиталистическое будущее. В этом багаже и производственные помещения, где для людей была работа, и жильё, которое получали работающие в колхозе, в школе, в Доме культуры. Вместе со мной на той самой встрече присутствовали люди, которые в те уже далёкие годы не были обделены всем этим, но сегодня, обиженные действующей властью по всем социально-бытовым вопросам, они числятся в рядах правящей партии «Единая Россия», рьяно ей прислуживают, хотя и против своей воли. И при этом просят помощи у коммунистов, потому что знают: эта власть не даст.

В одном доверительном разговоре со мной на вопрос, зачем они кривят душой перед собой и перед людьми, моя собеседница с горькой усмешкой призналась: «Ты что хотел, чтобы я сразу написала заявление и ушла с работы?».

Мне нередко встречаются в районной газете «Приокская нива» информации о том, что при проведении в районе того или иного праздничного мероприятия вручает призы, подарки от «Единой России» руководитель местного исполнительного комитета партии Марина Дьячук. Все работники буквально всех бюджетных организаций – медсёстры, учителя, воспитатели и технические служащие записаны в эту партию и с гордостью заявляют, что у них хорошая зарплата, правда, говорят они так лишь в присутствии районных чиновников, и то не всегда. Но во всех коллективах стало нормой не по одному разу в год просить помощи у кого только можно на ремонт помещений, на обновление материально-технической базы и т.д., потому что у власти просить бесполезно, а простой народ, представители мелкого бизнеса всегда проявляют милосердие. Почему бесполезно? У власти денег нет, миллиарды бюджетных средств разворовываются чиновниками различного уровня; собственно, о суммах мы можем судить по недавним коррупционным скандалам в сердюковском Минобороны, в скрынниковском Рослизинге, в космическом ГЛОНАССе, в мэрии Санкт-Петербурга и другим громким воровским делам. Можно предполагать, что власть помалкивала про все коррупционные

скандалы, не желая портить свой имидж перед выборами Государственной Думы 2012 года и президентскими 2013-го. Выборы прошли – и можно кое на что открыть глаза: мол, вот мы какие, боремся с коррупцией. За то, что уже третье десятилетие совершается в нашей самой большой стране, от Москвы до самых до окраин, в том числе и в моей родной Васильевке, в советское время чиновников от власти без промедления исключили бы из партии, освободили от работы и судили бы как самых закоренелых преступников; а сейчас мы видим зеркальное отражение той действительности: казнокрадов принимают в партию, назначают министрами, вручают награды.

В сегодняшней повседневной жизни детские сады – не одна забота администрации сельского поселения: есть ещё дороги, мосты, водопроводы, т.е. всё то, что сведено в единое в строке «Коммунальное хозяйство». Объём работ здесь большой, территория – чуть ли не десять деревень, пусть даже почти опустевших. На Очкинское поселение выделено всего 50 тысяч рублей. И опять была рука просящего: 100 тысяч рублей подарили депутаты областного Совета на водопровод в Никольском; почти 300 тысяч – на Васильевский, но, как было уже отмечено, потратить последние не пришлось: вернули, так как на строительные работы в этом населённом пункте надо было 400 тысяч.

По расходам поскромнее поселенческая власть надеется на щедрость местных фермеров и предпринимателей. Например, фермеры А. Волков, В. Кузин,

С. Чугунов помогли средствами на ремонт памятников: во время боёв на Орловско-Курской дуге при освобождении Глазуновского района погибли тысячи советских воинов, о чём говорят шесть памятников и два обелиска с именами погибших. Словом, давали на святое дело.

Как будет складываться деревенская жизнь дальше? Думаю, что лучше не будет. Детишек поубавится, и можно предполагать, что на дверях детского сада повесят большой замок. Почтовое отделение уже закрыли; как сказал бывший губернатор Александр Козлов, почту приблизили к народу: три дня в неделю приезжает в деревню автофургон. Медпункт закрыт – нет специалиста, да и власти это на руку: экономия средств. Ради чего экономить деньги, которые надо бы тратить на людей – их обучение, лечение, на решение различных социально-бытовых проблем? Ответ на этот вопрос я много раз слышал от земляков: чтобы украсть было что – там, наверху; а местная власть при этом постоянно будет с протянутой рукой. А люди будут писать письма и просить, просить, просить...

И всё тот же вопрос: куда идём?

д. Васильевка,  
апрель, 2014 г.



## ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЗВУКОВ, КРАСОК, ОБРАЗОВ

Новая книга Валентина Васичкина «Горький мёд», несомненно, привлечёт внимание читателя глубиной постижения материала, свежестью и незаморенностью взгляда на затронутые в ней проблемы, ярко выраженной авторской позицией. Это, прежде всего, взгляд поэта, поэта-лирика, с необыкновенной проникновенностью постигающего загадки бытия. Книга и открывается подборкой стихов, задающих ей лирический тон. Это стихи подлинного мастера слова, умеющего подмечать такие детали, которые заставляют задуматься над жизнью, её неповторимостью и загадочностью. Первое, что бросается в глаза при их чтении, — неподдельность, искренность и та простота, с которой поэт открывает читателю удивительную красоту мира, в котором живут его герои. Впечатление такое, как будто автор не прилагал особых усилий над воспроизведением жизненных коллизий — стихи сами ложились на бумагу. Читаешь то или иное стихотворение и не замечаешь особого мастерства, с которым автор создаёт образы. Читаешь стихотворение и попадаешь в неповторимый мир звуков, красок, образов, мир такой простой и в то же время такой загадочный и сложный — под стать стихам, простым и одновременно сложным.

Плавное течение строк, а за ним тревога поэта за судьбу Родины, ностальгия, грусть о минувшем. Она, ностальгия, как сказано в стихотворении под этим названием, «зовёт нас к истокам своим возвратиться». Человек в новом веке унижен, «он никто с дубликатом бесценного груза». «Как мало осталось в потомках от предков отваги». «Ни просёлков, ни деревень, / Там бушует теперь крапива». Таковы реалии жизни, от них никуда не деться, они мозолят глаза, они тревожат и душу нашего современника. И как не тревожить, если «на мелких осколках большого Союза / Человек для страны — он уже как обуза». Как не тревожить, если «На российских просторах народ вымирает», если «в этом мире алчности и лжи... плодят изгоев и плембеев», если «безлюдье в родном краю».

Валентин Васичкин, несомненно, обладает высоким художественным даром. Его поэзия не вторична, она свежа и оригинальна: её питают не чужие образы, а сама жизнь. В его стихах на первом месте стоит личность самого поэта, круг его субъективных представлений о мире, выражение его душевных переживаний. Разнообразные выразительные средства (вопросительные и восклицательные обороты речи, анафорические формы высказываний и пр.) позволяют автору повысить экспрессивность лирического повествования, достигнуть нужного эффекта и художественного воздействия на читателя. Напряжённость душевной жизни, насыщенность психологическими переживаниями — пожалуй, одна из основных примет

лирических стихотворений Валентина Васичкина — поэт как бы «зашифровывает» эмоции и переживания в зримых атрибутах материальной среды.

Глубиной постижения материала и тем же лиризмом, что и стихи автора, отмечены также включённые в книгу четвёртая часть повести «Украденная любовь» и очерки «От Москвы до самых до окраин: народ и власть». Автор, знающий перипетии сельской жизни не понаслышке, очень убедителен и достоверен в своих размышлениях. И повесть, и очерки отмечены высоким напряжением образного строя, достоверностью в раскрытии нравственно-психологического состояния героев.

В очерке о селе Тагино Глазуновского района, чьи обширные земельные владения в верховьях Оки перешли во владение рода Пушкиных, отмечается, что эта земля помечена особой меткой в истории Великой Отечественной войны. Но на обелиске схема боевых действий приведена в негодность. Озерки и сотни других деревень были убиты, сгорели без дыма и пепла в результате анти-советских устремлений.

Во всех деревнях польнь да бурьян как признак неухоженности земли и бескультурья её хозяина.

В настоящее время земля становится источником наживы. Её вынудили отдать в аренду на 49 лет неизвестно кому. Автор очерков сокрушается по поводу того, что чем дальше уходим от советской эпохи, тем сложнее приходится решать социальные проблемы.

Валентин Васичкин длительное время проработал в районной газете в качестве корреспондента, заведующего отделом писем, редактора. Это позволило ему получить богатейший материал о жизни и быте деревенской России, который получил блестящую художественную интерпретацию в книге «Горький мёд».

Правдивость самовыражения, тонкое мастерство в передаче оттенков чувства, живописность поэтической манеры — таковы, на наш взгляд, отличительные особенности писательского почерка Валентина Васичкина, который стремится закрепить в слове психологический нюанс, раскрыть сложную, многослойную природу человеческой души.

Если верна обронённая когда-то классиком (Кольриджем) формула, определяющая существо поэзии: «Поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке», — то она, эта формула, оказалась материализованной в творчестве Валентина Васичкина.

**Пётр Гапоненко,**  
кандидат филологических наук.

## СОДЕРЖАНИЕ

Весенним утром .....	4
----------------------	---

### НОСТАЛЬГИЯ

«Над белыми рощами ...» .....	6
Ностальгия .....	8
«Мир всё ещё болен...» .....	10
На отцовской земле .....	12
«Солнце раньше теперь встаёт...» .....	14
«За лугами-полями закат догорает...» .....	15
«Всё слабее сердце моё бьётся...» .....	17
«Родная деревня, ты Мекка...» .....	19
«С годами родной деревенский уют...» .....	20
«Соседней деревне везения нет!» .....	22
Осколки .....	23
«Ни тепла, ни радости в природе...» .....	24
Две картины .....	25
«Безлюдье в родимом краю...» .....	27
«Осенние дни, как снимки...» .....	28
Закваска .....	29
Пастушок .....	31
Лапша .....	33
Слушая время .....	34
Посмотрю через годы .....	36
«Цветёт сирень...» .....	38
С поличным .....	39
«Человек проникает в другие миры...» .....	40
Горький мед .....	42
«Ракиты по окопу – к огородам...» .....	44
В Великие дни .....	46
«Приличествуя и не бранясь...» .....	48
Плохая примета .....	51
Закуёт! .....	52
«Через поле след, похоже, лисий...» .....	53
Полоса невзгод .....	54
О влюбленных воробьях .....	55
Женщина у зеркала .....	57

Везучие.....	58
«Всё больше грусти вижу в твоём взгляде...» .....	59
Мы расстались.....	60
«Белый свет над равниной белой...».....	62
Перед портретом в родительском доме.....	63
Осколки солнца пятнами.....	65
Снегири .....	67

### **УКРАДЕННАЯ ЛЮБОВЬ**

Повесть. Часть четвертая.....	69
-------------------------------	----

### **ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН: НАРОД И ВЛАСТЬ**

Очерки

<b>ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО ПОЖНЁШЬ</b> .....	205
1. В траве забвения.....	205
2. Где ты, Кузькина мать?.....	213
3. Последний оплот .....	218
<b>ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО</b> .....	231
1. Куда идём? .....	231
2. Власть с протянутой рукой.....	243



**Валентин Митрофанович Васичкин**

### **ГОРЬКИЙ МЁД**

*Стихи, повесть, очерки*

Подписано в печать 07.11.2014 г.

Формат 70x100<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Печать офсетная. Бумага офсетная.

Усл. п. л. 10,4. Тираж 500 экз. Заказ № 1227.

Вёрстка и печать ОАО «Типография «Труд».  
302028, Орел, ул. Ленина, 1.